

ЕВРЕЙСКИЙ ЖАМЕРТОН

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ...

Татьяна ХОХРИНА

Я сегодня встала чуть свет, не успела повернуться - уже темно, хотя ни черта не сделала. Я точно знаю, что тогда, в детстве, а может - только в Малаховке, время текло совершенно по-другому. День был такой ленивый, такой долгий, можно было успеть сто дел, а он все не кончался и не кончался.

В детстве так крепко спалось! Я ни разу не проснулась, когда родители убегали на работу, хотя дом был крохотный, переборки фанерные, а голоса звонкие. И разбудить меня могла только молочница Вера, приходившая через день и молотившая литровым черпаком по жестяной крышке бидона, скликакая заинтересованное население. В ответ из разных дворов, как на поверке в зоне, откликались голоса с данными и цифрами. Я открывала глаза, жмурилась от яркого солнца, а бабушка уже протягивала мне сарафан и бидон с трояком, засунутым в колечко крышки: "Уже встань уже или ты ждешь, когда молоко станет ряженкой?! Это только есть вы успеваете первыми! А у Верки останется только нижнее молоко, как вода, что они сдают на молоко-завод! И возьми творог на всех и сметана на борщ!". Кого бабушка имела в виду под теми, кто ест первыми, я не знала, но уже неслась, теряя сандалии, за калитку к Вере.

Потом мы завтракали, и нигде больше я не ела таких сырников, блинчиков, оладий или гренков! Теперь гренками называют в основном сухари типа пресованных и чуть подгоревших опилок. Тоже мне деликатес! А бабушкины гренки из толстых ломтей "батона по двадцать пять, смотри!", разбухших от жирного молока Веркиной коровы Розы, потом испувавшихся в ярко-желтом деревенском взбитом яйце, поджаренных на сливочном масле и присыпанных в конце крупным сахарным песком и корицей... Да никакие пирожные им были не конкурент! Только напольные весы и учитель физкультуры...

После завтрака я напрашивалась сходить на рынок, в магазин или на



Фото: wikipedia.org

станцию. Конечно, не из стремления не зря есть свой хлеб, а тем более такие гренки. Просто рядом все уже было изучено, а там все время случалось что-то интересное! К тому же можно было распорядиться заначкой из рублей, подсунутых другой бабушкой и теткой. Главный магазин мы называли "Звездочка" или Генеральский - там рядом были генеральский дачный кооператив, а магазин принадлежал военторгу. Он, по сравнению с другими и даже с московскими, был очень ничего. Но я помню, как проходила мимо забора более ранняя пташка, учительница Фира Оппельбаум и, не поворачивая головы, кричала бабушке: "Вэй из мир! Только паюсная икра, крабы и синие куры! Циля, пошли Таньку за мукой и рисом, а то твой зять второй голод, после ленинградской блокады, не переживет!". Похоже, жизненный опыт Фире оптимизма не прибавил, но тут она, слава Богу, ошиблась со своими прогнозами.

В "Звездочку" можно было ехать на велосипеде, завернуть на часок к подружке Кате, нынче вспоминающей о Малаховке в Англии, стрелой промчаться мимо бараков, надеясь, что "плохие мальчишки" все же заметят, обстреляют шишками или яблочными завязями, бу-

дут что-то (точно нехорошее) шептать друг другу и гадко хохотать, но все равно это - приключение и еще некоторое время я буду крутить педали, в такт повторяя "Дураки, вот дураки!", и щеки остынут только дома. А я ведь еще посмотрю, как около "Звездочки" играют на корте в непривычный тогда большой теннис, попутно наберу в березовой роще десяток-два маслят, кроме порученного бабушкой куплю и одна бессовестно слопаю шоколадного зайца (куда они пропали, кстати?) и, перемазанная, вернусь домой. На "Звездочке" продавцы и покупатели тоже друг друга знали, и иногда из-за прилавка выскакивала толстая Сима и совала мне пакет селетки, крича: "Цыльке скажи - рупь сорок, не забудь, слышь, рупь сорок и не завтра, а послезавтра привези, в смену мою!". А иногда выходил из таинственных глубин магазина хромой мясник дядя Жора, выносил несколько свертков, ужасающе пропитанных кровью, и раздавал детям в очереди со словами разведчика-нелегала: "Там все унутре! Не раскрывай!". И только бабушка потом принимала эту шифровку и радостно объявляла: "Ничего себе! Ой, Жора, швоих! Сделаем котлеты и кисло-сладкое жаркое! Аби гезунд!".

А еще интереснее было отправиться на рынок и на станцию. Туда, правда, бабушка не разрешала ехать на велосипеде: во-первых, движение, во-вторых, сопрут или отнимут велосипед. Зато там было полно магазинов, в том числе и главных - книжных, где еще и альбомы, и краски, там мороженое и семечки, там цыгане. Там одновременно можно встретить трех разных (даже не родственников!) Гендлиных: завуча школы, мозля, делавшего тайно обрезание, и сумасшедшего Йоську Гендлина. Там у перехода через железку продают щенков, котят и козлят и всех можно потрогать, там по дороге живет старая бульдожка Гнэся, которую я подкармливаю и глажу через дырки в заборе, туда на площадь приезжает старьевщик - одноглазый Арон, который за такое барахло, как садовый секатор или зимний шарф готов отдать настоящее сокровище - плотный мячик из разноцветной фольги на резинке! К тому же можно погладить и угостить яблочком его лошадку Фаньку! Там на рынке дают все попробовать, даже сало, которое бабушка не любит, хотя сама солит, но говорит: "Это не то сало, это - другое сало", хотя разницы, кроме нее, не знает никто. Потом можно в один карман насыпать семечек, в другой - стручкового молодого горошка, а в кулаке зажать мороженое, повесить на плечо авоську с парой кабачков и десятком огурцов по заказу бабушки, и долго зевакой таскаться между рядами, пока вдруг с противоположной стороны не заорет мама уролога Гана: "Девочкееее, Согкиншееее, Танькееее, пегеведи бабушке Мане чегез догога и домой!" И мы ползем со старой Ганшей обратно...

А ведь это все - пока до обеда! Я еще не гуляла, не делала секретки, не играла в прятки и в штандар, не читала, не встречала родителей на углу и не пересказывала им всю эту чепуху. А сейчас, только дописав эти мемуары, я за весь день первый раз соберусь посуду в машину затолкать, даже не помыть... Какое же здесь, в отличие от Малаховки, неправильное время...

Ян Томаш ГРОСС

при участии
Ирены ГРУДЗИНЬСКОЙ-ГРОСС

Из главы "Крупный план: сцена преступления". <...> Она бежала как ошалелая, в надежде оторваться от гнавшегося за ней преследователя. Добежала до ближнего овина Мусялов, при котором была уборная - там и скрылась. Но преследователь вытащил ее оттуда за волосы. Она пыталась его подкупить, обещая золотую цепочку, зашитую в одежде. Она рыдала, умоляла, они были знакомы, как все в деревне, - он был ее ровесником. Однако мрачный ловкач не дал себя умолить, вцепился лапой в ее волосы и потащил обратно. Люди делали вид, что ничего не замечают...

Шангля надеялась найти спасение для двоих своих детей. Может быть, она хотела упасть на колени перед приходским священником или викарием и просить помощи? Этого мы никогда не узнаем. Можно лишь предположить, что она хотела поступить так же, как ее бабка Семкова, которая на другой день прибежала к первой нише церкви и, стоя на коленях у двери, ждала, когда ксендз и первые старушки начнут входить в церковь. Она протянула к ним руки с плачем, умоляя о спасении для дочери и внуков. Бесполезно... И тут же ей пришлось убежать, потому что в деревне уже начиналось движение. <...>

Между тем слуги старост в Ланцутской и Тринечкой частях Гневчины кружили по селу и на основе признаний, вырванных пытками, отбирали зимнюю одежду, спрятанную у доверенных людей, угрожая в случае отказа, что к ним явится гестапо. <...>.

Когда местные, отцы семейств и набожные католики, насытились насилием над женщинами, когда все разграбили, а их жертвы - дети, матери и отцы, - обессиленные от плача, боли, панического страха, темноты, бессонницы, жажды и голода, были уже на самом дне нечеловеческого отчаяния, - их выдали гитлеровцам, чтобы избавиться от свидетелей. На другой день, поздно вечером, с телефонной будки в полицию оккупантов в повоем городе Ярославле пришло сообщение: "Накопилось много евреев, целых восемнадцать".

Никто из этих восемнадцати не уцелел.

Крупный план преступления в Гневчине демонстрирует два характерных явления, из которых одно известно, а другое требует размышлений. Память об убийствах евреев во время войны очень хорошо сохранилась в польской провинции и даже передается из поколения в поколение. Еще до того как преступление в Едвабне стало предметом острой дискуссии в прессе, и так называемые "защитники доброго имени", во главе с приходским священником, решили спрятаться за стеной забвения, журналисты без труда выясняли из разговоров с местным населением, что это "наши", а не немцы, перебили евреев в июле 1941 г. Можно

ЗОЛОТАЯ ЖАТВА

В отрывках

Эту книгу читать тяжело - морально и физически. Импульсом к ее созданию послужила фотография, сделанная после войны на территории лагеря смерти Треблинка, где местные жители занимались поисками драгоценностей, якобы оставшихся после уничтожения евреев в газовых камерах. Именно на периферии Холокоста замечены гиены в человеческом образе. "Золотая жатва" - не только описание этого кошмара, но и попытка понять его причины



допустить: это было потому, что убийство евреев было настолько обычным делом, что воспринималось как своего рода норма, хоть и шокирующая. В то же время мало столь же значительных событий происходило когда-либо в малых местечках или селах. Поэтому такие преступления на много лет становились навязчивой темой разговоров, закрепляя память о них даже у поколения, родившегося после войны.

Другая существенная черта преступления в Гневчине, о которой свидетельствует Т.Маркель, - это пытки, которым подвергали евреев перед смертью. Можно допустить, что пытки евреев, а также пытки и изнасилования евреек также были тогда всеобщим явлением.

В послевоенных судебных делах мы читали о жестокостях и насилиях над евреями, убитыми в Келецком крае. Однако польско-еврейские отношения во время оккупации выглядят иначе со слов этномузыковеда, который десятилетиями собирает фольклор сельских музыкантов, любит польское село и имеет там много друзей: "Самым болезненным для меня является отношение деревни к евреям и всеобщий триумф от того, что евреев нет. Всеобщий. И еще одно, о чем я мало писал и что составляет для меня страшное знание: убийство крестьянами евреев, скрывавшихся в лесах. Число тех случаев и преступлений, о которых я знаю... это страшный груз. В книге я привожу только ужасающий рассказ о том, как "отец" певца С. замучил до смерти двух еврейских девочек, как затем со своей бандой изнасиловал и убил еврейку, прятанную в лесу. Однако была и такая история, одна

из многих, о которых я не писал: молодая, красивая еврейка бежала с двумя маленькими детьми из транспорта под Бялобжегами. Ее знали, все это подтверждали. Она направилась к лесу, а за ней парни с палками, в ее возрасте. Еврейке могло быть двадцать три года, одному ребенку - четыре, другому - три года. Но двадцать мужиков забило их палками из чистого удовольствия, никто из них с этого ничего не получил".

Историки обычно не обращали внимания на такие подробности, отмечая только факт преступления. Однако почему бы местному населению при удобном случае было не приложить все усилия, чтобы разведать у евреев, где они прячут свое мифическое золото?

Понемногу мы начинаем понимать, откуда взялось часто встречающееся в еврейских воспоминаниях о том времени мнение, что "местные" (это могли быть украинцы, литовцы или поляки) "были хуже немцев", хотя хорошо известно - и евреи знают это лучше других, - что Холокост был делом рук нацистов, охватившим Европу во время войны в результате германской оккупации. Эту странную черту еврейской памяти можно понимать так, что смерть от руки своих сопровождается особыми мучениями - в моральном смысле слова, из-за очевидного акта предательства, жертвой которого становится человек¹. И многое также указывает на то, что - безо всякого переносного смысла - смерть от рук соседей должна была быть попросту очень болезненной.

Из главы "Новые правила поведения". Вот слова времен оккупации, сохра-

нившиеся скорее благодаря свидетельству одного из участников разговора, чем стороннего очевидца. Для нас этот разговор особенно важен, так как состоялся в непосредственной близости от территории, с которой происходит наш снимок. Героем разговора (если так можно выразиться) был уже известный нам землевладелец из Церанува, местности, расположенной недалеко от лагеря в Треблинке и отличающейся тем, что советские солдаты из obsługi располагавшегося там военного аэродрома участвовали в поисках "кладов" на территории лагеря.

Так вот, один из местных жителей, Юзеф Гурский, знающий иностранные языки, патриот-католик и сторонник самой популярной до войны политической партии - национально-демократической (т.е. наверняка не какой-нибудь человек с психическими отклонениями или отброс общества, а скорее "соль земли" довоенной Речи Посполитой), приводит такой фрагмент разговора с немецким чиновником оккупационной администрации. В дневнике Гурского кратко изложению взглядов предшествует внутренний монолог автора: "...я смотрел на истребление евреев в Польше с двух разных точек зрения, между которыми лежала пропасть антиномии: как христианин и как поляк. Как христианин, я не мог не сочувствовать своим ближним. <...> Как поляк я смотрел на эти события иначе. Будучи сторонником идеологии Дмовского, я смотрел на евреев как на внутреннего захватчика, притом всегда враждебно настроенного до самого конца диаспоры. Поэтому я не мог не испытывать чувства удовлетворения, что мы избавляемся от этого оккупанта, причем не собственными руками, а руками другого, внешнего захватчика. <...> Я не мог скрыть чувств удовлетворения, когда проезжал через наши местечки, очищенные от евреев, и видел, что отвратительные, неряшливые еврейские трущобы с их непременными козами перестали портить наш пейзаж. Когда Турм [немецкий чиновник, с которым наш автор как раз ехал вместе. - Я.Г.] спросил: "Sehen die Polen die Befreiung von den Juden als einen Segnen an?" ("Считают ли поляки свое избавление от евреев благословением?"), - я ответил: "Gewiss" ("Разумеется"), в полной уверенности, что выражаю мнение подавляющего большинства моих сородичей".

Гурский хорошо знал психологию своих сородичей: "В период оккупации, - писал Юзеф Мацкевич, известный консервативный публицист и писатель, - не было буквально ни единого человека [выделено автором. - Я.Г.], который не слышал бы поговорок: "Одну вещь Гитлер хорошо сделал, что ликвидировал евреев, только не надо говорить об этом вслух" <...> Предрасположенность к этой лжи была одобрена и принята почти всем национальным коллективом".

Глава "Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frere".² О "копателях", которых также называют "гиенами", "шака-

лами" и "выродками", все, кто упоминает об этом, пишут с безмерным презрением. Вообще многие сцены той эпохи, о которых мы узнаем сегодня, кажутся скорее порождением большого воображения, каким-то мрачным вымыслом: маленькие пастушки, хватающие на лугу незнакомого паренька и спускающие ему штаны, чтобы убедиться, не еврей ли он, а потом спорящие, утопить ли его или отвести на жандармский пост. Деревня под Вадовице, жители которой решили отрубить топором головки во время сна двоим еврейским сиротам, укрывавшимся на селе, и успокоились лишь после того, как их опекуна Карольца Сапетава объехала двора с детьми на возу, делая вид, что везет их топить в ближайшей речке. Публичное убийство схваченных евреев жителями келецкого села. Крестьяне из Едвабне и Радзилова, которые сожгли своих еврейских соседей. Молодые люди в Варшаве во время восстания в гетто весной 1943 г., перекрикивающиеся о том, чтобы в обеденный перерыв пойти поглядеть, как "жидки жарятся". Видный деятель при костеле, пишущий в официальном подпольном отчете, что явно по "Божьему промыслу" руками немцев Польша избавляется от евреев. Невероятная фраза: "Гитлеру после войны надо памятник поставить за то, что избавил Польшу от евреев", - оказывается банальностью, повторявшейся по всей бывшей Речи Посполитой вдоль и поперек, людьми из всех общественных слоев. Антося Выжиковская (глубоко верующая крестьянка из-под Едвабне, которая три года укрывала на своем дворе семейных евреев) разъясняла журналистке Анне Биконт, что священнику в Польше она бы в этом никогда не призналась и что ее дочь правильно поступила, выбросив в мусор медаль "Праведника мира", которой Антосю наградили в Израиле - ведь ее и так некому было показать. Добрые люди, прятавшие евреев, которые даже после войны все время боятся, как бы об этом кто-нибудь случайно не узнал. Или крестьяне из деревни Седлиско, покупающие косы в волостном магазине, чтобы поучаствовать в охоте на евреев. Все это звучит как абсурд, как злой сон, но ведь мы знаем, что это правда и что большая часть этих мрачных событий никогда со времен крематориев не предавалась публичной огласке!

И внезапно мы начинаем понимать, что шокирующие сообщения и события - каждое по отдельности, на первый взгляд, поразительное и даже неправдоподобное - соответствуют друг другу и складываются в связную картину. И именно их соответствие друг другу, взаимная дополняемость сообщаемых наблюдений и событий, о которых мы по свежему впечатлению судили как о патологии, заставляет нас признать их проявлениями общественной практики, конкретными формами правил поведения в том, что касается евреев. И мы начинаем понимать, что еврейская собственность становилась день ото дня все более легко доступным объектом обладания, и только "растяпа"³ не пользовался подвернувшимся случаем. Что после убийства еврея или после вы-

дачи его немцам на смерть (что в итоге значило одно и то же) убийца и дальше оставался принятым, а нередко и уважаемым членом общины. Что самым распространенным поведением в польском обществе - разумеется, если помнить, что большинство людей было сосредоточено лишь на том, что их напрямую касалось, а к судьбе евреев было безразлично, - была травля и выдача укрывающихся евреев (а также и поляков, которые давали им убежище), но отнюдь не оказание им помощи.

Скажем о том же иначе: случайно встретившийся поляк-католик во время оккупации мог пройти мимо, не обращая на еврея внимания; мог в какой-либо форме дать понять, что готов помочь; или, напротив, проявить в отношении еврея какую-либо форму агрессии. Воспоминания выживших евреев подтверждают, что диапазон поведения в таких ситуациях чаще колебался между равнодушием и агрессией, чем между равнодушием и готовностью помочь. Свидетельства тех, которые не оставили воспоминаний, потому что не выжили (и в связи с этим мы не знаем, что они могли бы сказать), наверняка не изменили бы этого впечатления.

У нас нет количественных данных, чтобы выяснить, какой процент жителей давал убежище и помогал евреям, какой стоял в стороне, не марая рук в деле Холокоста, а какой участвовал в грабеже и убийстве евреев. Однако в качестве эпистемологически солидного исходного пункта понимания случившегося, архимедовой точки опоры в понимании эпохи, отсутствие точных подсчетов компенсируется открытием, что отдельные эпизоды и конкретные случаи (каждый из которых по отдельности кажется исключительным эксцессом, а то и невозможным) складываются в общую картину, давая соразмерный образ и образуя связную целостность.

"Марии нужно было откуда-нибудь позвонить, и мы вошли в небольшую кондитерскую - она полагала, что там есть телефон. Оказалось, однако, что телефона нет. Тогда она решила, что оставит меня тут на несколько минут одного, купила мне какое-то пирожное, выбрала самый неприметный столик в каком-то темном углу, и сказала, что, как только кончит дело, сразу вернется. То же самое она сказала принимавшей нас женщине - это наверняка была хозяйка. В маленьком помещении стояло не больше пяти столиков, людей было немного, так что я мог слышать все, что они говорили. Сначала мне казалось, что царит спокойствие, я сидел тихо, как мышь, ждал, как мне было сказано, - и, к счастью, ничего не происходит, я ем свое пирожное, а о чем там судачат женщины (мужчин не было), меня не касается. Но через минуту я не мог не заметить, что дела складываются иначе: трудно было сомневаться, что я оказался в центре внимания. Женщины - может быть, прислуга, а может, посетительницы - обступили хозяйку и что-то ей шептали. При этом они упорно присматривались ко мне. Я был уже достаточно опытным укрывающимся еврейским ребенком,

чтобы сразу понять, что это значит и к чему может привести. Уровень моего страха резко возрос.

<...> До меня долетали обрывки разговора, настолько выразительные, что нельзя было сомневаться: это обо мне. Как всегда в таких ситуациях, мне хотелось провалиться под землю. Слышал: "Еврейчик, наверняка еврейчик..."; "Она-то нет, а вот он - еврейчик..."; "Подкинула нам его...". Женщины обсуждали, что со мной делать, <...>, мое положение с минуты на минуту становилось все хуже.

Утомленные спором и заинтересовавшиеся женщины приблизились, подошли к столику, за которым я сидел. Сначала одна из них спросила, как меня зовут. У меня были фальшивые документы, я заучил мои новые данные - и вежливо ответил. <...> Однако я слышал не только вопросы, которые задавали мне, слышал также комментарии и обмен мнениями, которые дамы произносили в сторонке - как будто тихо, только между собой, но так, что до моих ушей это не могло не дойти. Чаще всего повторялось грозное слово "еврейчик", но иногда звучала и самая страшная фраза: "Надо сообщить в полицию". Я понимал, что подать любой знак было равносильно смертному приговору".

Катастрофа европейского еврейства состояла, кроме всего прочего, в том, что геноцид, постепенно ставший сущностью нацистской оккупационной политики, получил поддержку, проявляемую разными способами, со стороны населения завоеванных стран: "<...> ни одна социальная группа, ни одно признанное сообщество, ни один академический институт или профессиональное объединение, как в Германии, так и во всей Европе, не заявил о своей поддержке евреев (некоторые христианские церкви вспоминали о новообращенных евреях, заявляя об их принадлежности к общине верующих - это все). Можно было наблюдать прямо противоположное: движимые алчностью, представители разных социальных групп, в том числе и органов власти, были втянуты в процесс вытеснения евреев, полное уничтожение которых было им на руку. Ни одна из влиятельных групп, способных уравновесить потенциал нацизма и связанных с ним антисемитских политических стратегий, не сделала ничего, что могло бы не допустить им развиться до крайних пределов"⁴.

Потому-то разграбление еврейской собственности во время Второй мировой войны стало общим опытом всей Европы. От Днепра и до Ла-Манша, Салоник или Корфу ни один общественный класс не устоял перед искушением. И если спросить, что общего между швейцарским банкиром и польским крестьянином, - кроме того, что оба они люди и имеют бессмертную душу, - ответ, лишь слегка стилизованный, будет звучать: золотой зуб, вырванный из черепа убитого еврея. Ведь пани из кафе в оккупированной Варшаве, в котором маленький Гловиньский как-то раз пытался съесть пирожное, - "нормальные, обычные, на свой лад храбрые и порядочные женщины, наверняка трудолюбивые, <...> набожные, обладающие гармоничным на-

бором добродетелей", - это наши тети и бабушки, nos semblables (нам подобные), которые поступали в соответствии с принятыми в то время нормами поведения.

Среди фактов и рассказов, приведенных в этой книге, мы упоминали разные места и разных людей, которые были жертвами или соучастниками подобных же страшных событий. Хотя вести о них прошли цензуру или самоцензуру, человек наталкивается на них без конца. Николас Верт приводит слова женины, соседи которой ходили вырывать золотые зубы у трупов заключенных, брошенных и заморенных голодом на одном из островков советского ГУЛАГа в 1932-1933 гг. Юзеф Мацкевич рассказывает, как в 1945 г. британские офицеры заманили казачьих офицеров, силой загнали их в грузовики и затем выдали на смерть Советам, и при этом ограбили их, предлагая по папиросе в обмен на часы.

Такое перечисление жестокостей не ведет ни в коей мере к обобщению, что в благоприятных обстоятельствах так мог бы поступить каждый. Но склоняет к смирению. "Моральная проблема, связанная с Холокостом, - писал Иегуда Бауэр, - состоит не в том, что его исполнители были нелюди, но в том, что это были люди, такие же, как и мы". Потому-то фотография крестьян из Трешлинка - тоже явно "нормальных, трудолюбивых, набожных и обладающих гармоничным набором добродетелей" - вызывает у нас не только отвращение, но и ужас: ведь мы не можем быть полностью уверены, что в конечном счете пред нами не снимок из нашего же семейного альбома.

Пер. с польского
Леонида Мосионжника

¹ Густав Херлинг-Грудзинский произнес в этой связи знаменитую фразу, хотя опыт, который его натолкнул на эту мысль, относится к советскому ГУЛАГу: "В этом было что-то нечеловеческое, что-то безжалостно рвущее единственную цепь, казалось бы, естественно объединяющую заключенных: их солидарность перед лицом преследователей".

² "Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник...": Бодлер Ш. Из предисловия к "Цветам зла". Пер. Эллиса (Л.Л.Кобылинского)

³ См., напр., сообщение инженера-мостостроителя, привлеченного к работе неподалеку от Трешлинка: "Люди выражали удивление, что я, в качестве начальника стройки, распоряжаясь большими деньгами, не начинал торговлю, чтобы обогатиться. Наверняка многие считали меня растяпой, но я до сих пор горжусь, что вышел из окрестностей трешлинского ада с чистыми руками и с совестью, не запятнанной насилием над людьми, с тем же мизерным личным имуществом, с каким туда пришел".

⁴ Американский историк, Марк Мазовер, сходным образом характеризует европейскую реакцию на нацистскую оккупационную политику: "В течение большей части войны <...> европейцы не возражали и послушно исполняли то, чего [немцы] от них ожидали. После 1945 года об этом выгоднее было забыть".

ТАРАС КОСТРОВ И ШУРА МАРТЫНОВСКИЙ

Белла КЕРДМАН

*"Простите меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я растранижу".*

Мы проходили в школе это стихотворение Владимира Маяковского - "Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви". С ходу расхватывались на цитаты для сочинений афористичные строки: "срываться, ревнуя к Копернику", "если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочетом" и т.п. А кто это - товарищ Костров? Учительница сказала, что он был первым редактором "Комсомольской правды" и что это он отправил поэта в командировку во Францию. И на долгие годы Костров оставался для меня "фамилией из Маяковского" - поэта, которого я боготворила и неплохо знала.

Мы действительно ленивы и нелюбопытны, это упрек себе. Как можно было, вернувшись из эвакуации в Одессу, оставаться со скудной информацией о любимом стихотворении любимого поэта, полученной в сибирской школе?

В середине 60-х я заведовала отделом учащейся молодежи в одесской газете "Комсомольская искра". А секретарем горкома комсомола на аналогичном участке была Тамара Погорелая, девушка умная и неплохо образованная. Эта "старший товарищ" была много моложе меня возрастом, но мы вели "общие вопросы" и охотно общались. Как и следовало ожидать, нашу комсомольскую богиню вскоре заметили в "инстанциях" и перевели в столицу. Однако общение наше продолжилось. Тамара время от времени приглашала меня в Москву и даже отправляла в командировку по стране, когда выпадала такая возможность. Благодаря ей я попала на первый (и единственный) всесоюзный съезд студентов. Помню, долго ждали выступления товарища Павлова, тогда первого секретаря ЦК ВЛКСМ, а он задерживался в комитете по Ленинским премиям. Явился в сильном и возбуждении и, ломая карандаши, сообщил залу, что сейчас "провалил Солженицына". То есть резко выступил против присуждения высокой награды "этому проходимцу, который не воевал, а симулировал, и вообще - антисоветчик", - что-то в этом роде мы услышали тогда из уст человека, который был "молодым лицом" в руководстве страны.

Однажды Т.Погорелая в каких-то архивах обнаружила, что адресат знаменитого стихотворения Маяковского, первый редактор "Комсомолки" товарищ Костров - вовсе не Костров. И не Тарас. "Тарас Костров" - это партийная кличка, а затем и литературный псевдоним че-

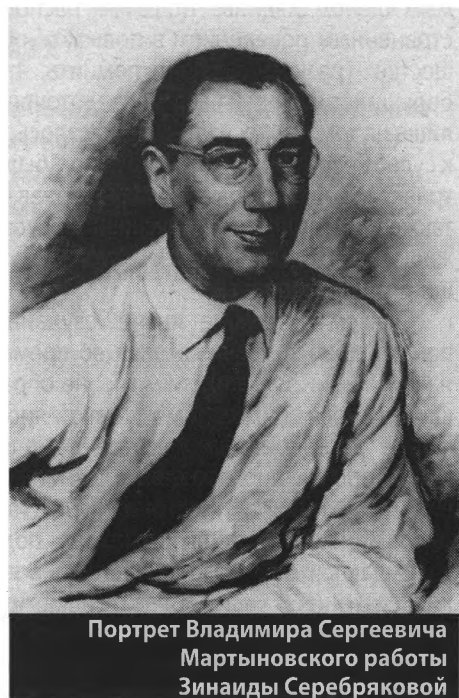
Тарас Костров
(Александр Сергеевич Мартыновский)

ловека, которого на самом деле звали Александром Сергеевичем Мартыновским! Она сразу среагировала на знакомое каждому одесситу "фио": именем Мартыновского называлась тогда площадь в центре нашего города (сейчас "обратно Греческая"), а ректором Холодильного института у нас был Владимир Сергеевич Мартыновский, "сын площади". И Тамара позвонила в редакцию: а вдруг товарищ Костров из этой известной семьи?!

По сути, она вломилась тогда в открытую дверь: в девятом томе полного собрания сочинений Владимира Маяковского 1957 года издания, где помещено "Письмо из Парижа", уже можно было найти справку о Кострове. А еще, оказалось, за именем "Тарас Костров" стоит судьба, не менее яркая и знаковая, чем само это стихотворение. И родословная, в которой отразилась история страны, где родились, жили и умирали несколько поколений Мартыновских.

Отец Тараса, Сергей Иванович Мартыновский родом из обедневших дворян. С двадцати лет он, недоучившийся студент Константиновского Межевого института в Москве, был связан с народовольческим движением. Арестованный полицией Санкт-Петербурга, стал узником Петропавловской крепости, а затем в ходе известного в истории "Процесса 16-и" был приговорен судом к 15 годам каторги. За совершенный побег с этапа по пути к месту ее отбывания (Кара) ему добавили к этому сроку еще 6 лет, и фактически каторга и ссылка для народовольца Сергея Мартыновского длились 24 года.

Замечу, между прочим, что самый ортодоксальный раввин не мог бы возразить против права товарища Кострова на израильское гражданство: его матерью была Цецилия Самойловна Гуревич (партийная кличка Самойлова). В те поры среди революционеров было такое поветрие - жениться на еврейках, и русский дворянин Сергей Иванович Мартыновский взял в жены нашу сопле-

Портрет Владимира Сергеевича
Мартыновского работы
Зинаиды Серебряковой

менницу. Александра, своего первенца, которого в семье звали Шурой, она родила в 1901 году в Читинской тюрьме.

В поисках сведений об этой женщине, я погуглила в интернете и напоролась на круто антисемитский справочник под названием "Они прячутся", где "они" - это мы, евреи. Здесь представлен (цитирую) "полный список евреев, переименовавших фамилию (456 шт.)". Так, в штуках. В предисловии от анонимного составителя читаем (орфография и синтаксис оригинала): "Нами собраны и предлагаются Вашему вниманию абсолютно все известные данные о скрытых евреях-сионистах. Эти сведения очень важны - они позволяют узнавать подлинное происхождение "пламенных революционеров", местечковых гешефтахеров, диссидентов, о чекистах, писателях, неслучайно прячущихся за "псевдонимами", о женах и детях и проч. Эти же сведения могут вам пригодиться и в личной жизни, например при выборе супруга...". "Революционерка Самойлова" представлена в антисемитском словаре как Цецилия Гуревич-Мартыновская, член ВОПИСА (Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльных). Приведу еще несколько "штук" из этого словаря: Л.И.Брежнев - Ганопольский Л.И. - политикан; Валенса Лех - Лейба Конне, политикан из Польши; Коротич В.А. - Гольдштюккер, писатель, масон...

Когда профессор Владимир Сергеевич Мартыновский (в студенческом просторечии Мартын), вернулся из заграницы, где он представлял СССР в ЮНЕСКО, мы спросили, не родня ли ему некий Тарас Костров? И услышав: "Да, это мой старший брат Шура", напросились к профессору с визитом. Мы - это представленная уже читателю Тамара Погорелая, мой коллега по газете Женя Голубовский и я.

У Сергея Ивановича и Цецилии Самойловны Мартыновских было трое детей: Шура (он же Тарас Костров), Валентина и Владимир. О судьбе старшего я уже рассказывала. С Валентиной

Сергеевной, которая, окончив Институт красной профессуры, проживала в Москве и, казалось бы, больше всех могла знать о Тарасе, нам никак не удавалось встретиться: телефона у нее не было, а соседи ничего не могли сказать об этой одинокой женщине, часто попадавшей надолго в больницу. Я познакомилась с Валентиной Сергеевной много позже, на даче в Одессе, где она гостила у родственников. Но тогда уже я могла ей рассказать о ее старшем брате Шуре больше, чем она - мне.

Профессор Владимир Сергеевич Мартыновский во время нашего к нему визита был немногословен. Человек явно не хотел ворошить прошлое, ведь было это в конце шестидесятых, когда хрущевская оттепель уже уступала брежневскому цинизму. И люди становились осторожнее. А возможно, ему просто не до нас было: что, если он уже заболел и предчувствовал, что через несколько лет уйдет из жизни?

Этот визит мне запомнился, в основном, двумя второстепенными, вроде бы, эпизодами. Во-первых, нам дали посмотреть привезенный хозяином из Мадрида великолепный альбом Сальвадора Дали. В то время увидеть у нас работы этого художника можно было разве что в виде иллюстрации "кризиса безобразия" в какой-либо из "загнивающих" стран. Во-вторых, нам показали портрет В.С.Мартыновского, который художница-эмигрантка Зинаида Серебрякова сделала в Париже с натуры. Как они познакомились, не знаю; возможно, мы постеснялись спросить, а может, я просто забыла. Не думаю, что это мог быть дорогой заказ - какие деньги водились тогда у советского человека, даже если он ректор крупного вуза и зам. директора департамента образования ЮНЕСКО?

Серебрякова написала тогда и Зинаиду Николаевну Мартыновскую, жену Владимира Сергеевича, бывшую балерину. Между прочим, это был второй брак В.С. А первой его женой и матерью старшего сына, носящего имя деда, была Тамара, дочь писателя Наума Марковича Осиповича, тоже народовольца, товарища Мартыновских по сибирской ссылке. Оба портрета кисти Зинаиды Серебряковой хранятся сегодня в Одесском художественном музее: их передали туда дети Мартыновских после смерти родителей.

Итак, фамилия из Маяковского - Тарас Костров. Свой псевдоним Шура Мартыновский, взял из романа Степняка-Кравчинского "Андрей Кожухов". Прожив короткую жизнь, всего 29 лет, он очень много успел за эти годы! В 1919-м при денкинской диктатуре в Одессе 18-летний Шура стал одним из организаторов большевистского подполья, возглавил повстанческий отряд. А годом ранее создал типографию, где выпускал газету "Молодой рабочий", от которой повела свой стаж молодежная



Коллектив "Комсомольской правды"
(Тарас Костров - третий справа во втором ряду). 1928

пресса в нашем городе, а возможно, и в стране. Посланный на восстановление Донбасса, Костров становится секретарем Луганского окружного комитета Украины и "с присущей душевной ширию" занимается подъемом топливного хозяйства и металлургии. Далее в его послужном списке - руководство киевской газетой "Пролетарская правда" и активнейшее сотрудничество в харьковском "Коммунисте" - напомним, что Харьков был тогда столицей Украины.

Однако ярче всего организационный и творческий талант Тараса Кострова проявился в пору его руководства "Комсомольской правдой" (1925-1928). Просматривая в читальном зале Одесской публичной библиотеки поднятые из архива (по "допуску") подшивки костровской "Комсомолки", мы поняли, на какие высокие образцы равнялся редактор Аджубей, когда стал делать газету нового типа. Сохранились свидетельства о методах работы Кострова с журналистами "КП". Ежедневно с утра им клали на стол пять газет: две из крупных провинций, три - московские или ленинградские. На чтение прессы отводился час. Каждый работник, действуя красным и синим карандашами, должен был оценить материал номера подчеркиванием и всякими "нотабене". Большое внимание уделялось оформлению. Затем Костров собирал эти газеты и просматривал. Так он учил коллег культуре работы и сам мог видеть практические результаты учебы. Время от времени редактор Костров садился за стол ответственного секретаря, заведующего тем или иным отделом, даже литправщика, и трудился в этом качестве, показывая, как надо работать.

Собирая материалы о Кострове, мы выезжали в Москву, встречались с людьми, которые могли его знать, с кем-то вступили в переписку. Их мало уже оставалось - кто на фронте погиб, а кто в ГУЛАГе. Общаться, в основном, приходилось со "вторым кругом" - женами, родственниками его соратников. Время от теплых надежд шло к закату, и собеседники наши были не очень-то разговорчивы. Вдова Дмитрия Бобышева, бывшего главного секретаря

"Комсомолки", рассказала, что ЦК партии строго поправил товарищей за то, что они донимали бедного Демьяна пародиями и карикатурами. Обрадовали нас сведения от "тихого еврея" Павла Ильича Лавута, бывшего при Маяковском вроде как его администратором. Лавут подтвердил, что Маяковского привлек в "Комсомолку" редактор Костров, а познакомились они в Харькове, куда поэт приезжал на публичные выступления, и где Тарас был в ту пору редактором республиканской газеты...

Мне удалось связаться по телефону с журналистом международником из "Известий" Марком Колосовым, который начинал когда-то под руководством Кострова. Он сказал: "В моей жизни было два настоящих редактора. Первый - Костров...". Тут он замаялся, и я продолжила фразу: "А второй - Аджубей". Молчание на другом конце провода было знаком согласия.

Два московских визита - полувековой уже давности! - особо памяты. На родственников знаменитого русского художника М.В.Нестерова мы вышли по цепочке телефонных подсказок, узнав, что первая его жена - Мария Ивановна Мартыновская была теткой Тараса Кострова, родной сестрой его отца. Художник и его Муза встретились в Уфе, на летних каникулах, и случайное знакомство с первого взгляда обернулось большой любовью. Была Мария впечатлительной и глубоко религиозной. Но при этом весьма своенравной: ее не остановило то, что родители Михаила Васильевича были против их брака. Когда уехавший в Петербург Нестеров тяжело там заболел, она в весеннюю распутицу на лошадях из Уфы бросилась его выхаживать.

Увы, их брак был недолгим: через год Мария, приведя на свет дочь, умерла родами. Нестеров пытался изжить горе, воскрешая любимые черты на бумаге и холсте. Он написал портрет жены в подвенечном платье, и спустя многие годы вспоминал: "Очаровательней, чем была она в этот день, я не знаю лица до сих пор". И до конца своей жизни в книжных иллюстрациях он воспроизводит любимое лицо. Мария Ивановна у него и

Царица, и Маша Троекурова, и Барышня-крестьянка, и даже Татьяна Ларина. Не расставался он с образом Марии Мартыновской и расписывая Владимирский собор.

Второй из памятных московских визитов был в Переделкино, на дачу к писательнице Галине Серебряковой, где она жила постоянно. В "Комсомолке" Кострова мы читали несколько ее больших очерков, в том числе о женщинах Китая. Надеялись, что Галина Иосифовна была лично знакома с редактором. Но она смутно помнила Тараса. Сказала, что он был старик, и очень удивилась, узнав от нас, что он и до тридцати не дожил, а Стариком его звали потому, что носил небольшую бородку. Однако память ее чисто по-женски сохранила сведения о том, что редактор Костров вроде бы не был счастлив в браке; жена его занималась то ли просвещением, то ли партийной пропагандой, детей у них не было, словом, семья не сложилась. Впрочем, это мы уже знали от одесской родни Шуры Мартыновского.

Галина Иосифовна предпочитала в тот день говорить, в основном, о себе, греясь в лучах поздней славы: писательница недавно стала лауреатом то ли Ленинской, то ли Государственной премии за трилогию о Марксе - "Прометей". Она продемонстрировала нам свой домашний "музей": жалкие эзовские экспонаты, выложенные на столике в углу комнаты. Какие-то серые одежки, носовой платочек, обвязанный по краям крючком, засохшая пайка хлеба, ее писательское "стило" - огрызок карандаша... Надо же, после всех бед, приключившихся с ней и ее семьей при сталинском режиме, эта все еще красивая женщина оставалась верной его, режима, "принципам"! Познакомившись с воспоминаниями других узников системы, я усомнилась в том, что автором "Прометей" действительно двигали "принципы" - скорее, то был инстинкт выживания...

Литературное наследие Тараса Кострова невелико, этот талантливый человек не успел до конца реализовать себя. При всей своей организационной загруженности, он писал публицистические статьи, и какие! Одни заголовки чего стоят: "Отчего пальба и крики и эскадра на Неве?" - этой непрямой цитатой из Пушкина была озаглавлена его статья в "Комсомольской правде", где велась полемика с ленинградскими молодежными лидерами. "Проблема моей свояченицы", "Бригада Ермилова на пути в Рим" - этими статьями в "Литературной газете" Костров подвергал критике формальные установки некоторых литераторов на "действенный самоанализ", "психологический реализм" и т.п. Мы узнали тогда в Одессе, что Костров написал какую-то работу о творчестве Чехова, и безуспешно искали ее в библиотечных каталогах. Теперь выясняю, что это была статья, в которой он резко выступил против попыток представить Антона Павловича революционером, она опубликована в журнале "На литературном посту" (№ 9 за 1929 г.).

От кого-то услышали, что Костров

был причастен к созданию главного комсомольского бестселлера - романа Николая Островского "Как закалялась сталь". А сегодня можно познакомиться в интернете с работой литературоведа Елены Толстой-Сегал, где исследуется эта тема. Толстая полагает, что книга была фактически заказана Островскому, намеревавшемуся написать биографический очерк, Костровым. Вероятно, в 1927 или 1928 году. Значит, не случайно этот роман впервые увидел свет в журнале "Молодая гвардия", который возглавлял Костров. Правда, публикация состоялась уже не при жизни Тараса. Однако самое активное участие в подготовке ее принимал заместитель редактора Марк Колосов, пришедший в журнал из костровской "Комсомолки".

Как сказано выше, площади в центре Одессы, носившей в советские времена имя народовольца Мартыновского, вернули прежнее название: Греческая. К сожалению, стоявший там круглый дом, "Дом политкаторжан", где поселились вернувшиеся из ссылки Сергей Иванович и Цецилия Самойловна с детьми (семья прожила там 23 года), снесли, соорудив на его месте современное нечто. Однако имя Мартыновских в топонимике Одессы остается: памятной доской на фронтоне вуза (теперь это Академия холода), которым много лет руководил младший сын народовольца, Владимир Сергеевич Мартыновский, ученый с мировым именем и видный общественный деятель.

Мы, казалось, хорошо изучили послужной список Тараса Кострова. Знали, что после "Комсомольской правды" он редактировал журнал "Молодая гвардия", а затем создал по поручению Горького журнал нового типа: "За рубежом". И считали, что это было продвижением его карьеры. Мы долго не знали, что с поста редактора "Комсомолки" Кострова сняли, что последующие его назначения были, по сути, понижением служебного статуса. Догадывались, правда: что-то с ним было "не так", и пытались понять, что именно. Возможно, постоянные насмешки над вездесущим Демьяном Бедным? Дружба с Николаем Ивановичем Бухариным? - на снимках с больших партийных форумов они были часто запечатлены рядом. Но ведь тогда редактор "Правды" Бухарин был при власти и в чести. Много позже, уже в интернете появилась информация, что у Тараса Кострова отняли "Комсомолку" за его "несогласие с линией товарища Сталина". Углубляясь в эти их "линии" не будем, только согласимся: "повезло" Шуре Мартыновскому избежать сталинских застенков и расстрела, успев умереть своей смертью! Если только можно считать "своей" смерть в 29 лет... Это случилось в 1930 году, в Гаграх, где он отдыхал и лечился. Тарас подхватил скарлатину, которая на фоне астмы (он страдал ею с юности) дала смертельный исход. Его там же похоронили. А спустя много лет могилу Тараса Кострова перенесли с местного кладбища в Комсомольский парк, поставили там памятник...

АНАТОМИЯ САМОНЕНАВИСТИ

Отрывок из новой книги "Коренные чужаки"

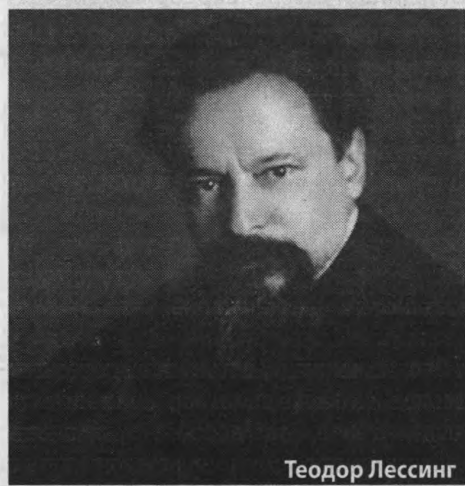
Александр ГОРДОН, Хайфа

Психологию еврея, враждебного своему народу, описал в начале XX века один самых больших евреененавистников среди евреев австрийский психолог Отто Вейнингер: "Кто ненавидит еврейскую сущность (сам Вейнингер. - А.Г.), ненавидит ее, прежде всего, в себе самом. Тот факт, что он безжалостно преследует все еврейское в другом человеке, есть попытка самому таким образом освободиться от него. <...> Человек ненавидит только того, кто вызывает у него неприятные воспоминания о себе самом". Вейнингер совершил попытку избавиться от себя как источника ненависти к себе рано утром 4 октября 1903 г. в Вене: в доме, где умер Бетховен, он выстрелил себе в грудь. Перед смертью он написал: "Я убиваю себя, чтобы не иметь возможность убивать других...". Ему было 23 года.

В 21 год Вейнингер, соученик Стефана Цвейга, защитил докторскую диссертацию по философии в Венском университете, в 22 года опубликовал одну из самых известных и скандальных в XX веке книг по психологии "Пол и характер". Благодаря этой книге крещеный еврей Отто Вейнингер стал одним из самых известных женоненавистников и антисемитов в мире. В еврейях Вейнингер ненавидел обособленность и изоляцию от других наций. Он считал, что подобные стремления ведут к вырождению еврейства: "В физической дегенерации современного еврейства не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что у евреев гораздо чаще, чем где-либо на свете, браки заключаются не по любви, а через посредников".

Явление еврейской самоненависти, ярко проявившееся в книге Вейнингера, проанализировал профессор ганноверской Высшей технической школы, немецкий философ и публицист еврейского происхождения Теодор Лессинг. В 1930 г. он опубликовал книгу "Еврейская самоненависть". В качестве примеров самоненависти он приводит также биографии Пауля Рэ, Артура Требитша, Макса Штайнера, Уолтера Кейла и Максимилиана Гардена - людей, чья философия строилась на неприятии собственной еврейской идентичности.

Основную идею книги Лессинг, видимо, взял из жизни Отто Вейнингера и из одной из его статей. В статье "О Генрике Ибсене и его произведении "Пер Гюнт" Вейнингер писал о Ницше как об индивидууме, испытывавшем особую ненависть к самому себе. Лессинг перенял из этой статьи понятие "ненависти к себе" (Selbsthass), чтобы объяснить психические особенности многих деятелей еврейской культуры, в том числе и самого Вейнингера. Направленная вовнутрь личности агрессивность мотивировала, согласно Лессингу, и переход Вейнингера из иудаизма в протестантизм, и его раннюю гибель.



Теодор Лессинг

Теодор Лессинг был одним из самых ненавистных людей в Веймарской республике. Будучи евреем, он, в отличие от германских патриотов-евреев Вальтера Ратенау и Фрица Габера, был антипатриотом. Во время выборов президента Германии в 1925 г. он посягнул на одну из германских святынь - фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, пациента его отца-врача. В пражской антинемецкой газете "Prager Tageblatt", Лессинг опубликовал статью "Zero-Nero?" ("Нерон или нуль?") против заслуженного фельдмаршала, описав его как "простака", "нечеловека", "свиногого волка". Лессинг утверждал, что Гинденбург будет еще одним "Нероном". Он резко разоблачал Гинденбурга и точно предсказывал скорое установление в Германии диктатуры при содействии фельдмаршала. За эту статью Лессинг был лишен кафедры профессора философии в Ганновере, которую занимал в течение 18 лет.

Самоненависть Лессинг изучал на себе. В студенческие годы он, типичный немецкий еврей, не получивший еврейского воспитания, под влиянием антисемитизма, пропитался ненавистью к своему народу и принял лютеранство. Почувствовав, что антисемитские атаки на него не стали слабее, он вернулся к иудаизму, выказывая симпатию к сионизму. Отважное поведение Лессинга в истории с Гинденбургом было редким явлением. Обидчик национального героя Гинденбурга, критик нацизма Лессинг стал одним из самых больших врагов новой власти. Когда нацисты победили на выборах 1933 г. и президент Гинденбург поручил канцлеру Гитлеру сформировать правительство, Лессинг бежал в Чехословакию. В ночь с 30 на 31 августа 1933 г. он пал от руки наемного убийцы, подосланного к нему нацистами в чехословацком городе Мариенбаде.

Тед мин "нееврейский еврей" ввел в обиход английский историк, публицист и социолог польского происхождения, троцкист Исаак Дойчер в одноименном эссе, опубликованном в 1954 г. Этот термин описывает тип еврея, заимствовавшего универсальный облик человека, возвышающегося над "незначительностью" еврей-



Герберт Маркузе

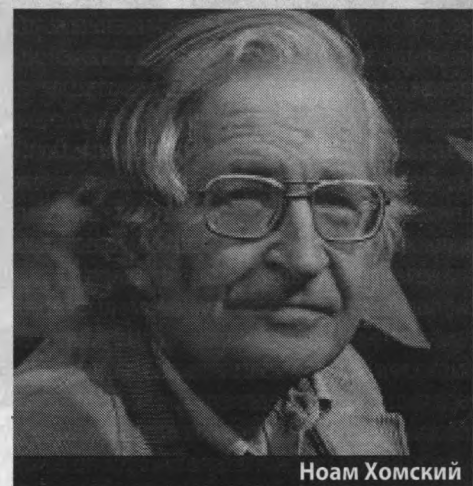
ских проблем и отбрасывающего еврейскую идентификацию, чтобы достичь глобальных, часто революционных целей. Только став революционерами, разрушителями существующего порядка и учредителями нового, нееврейские евреи преобладают свой еврейский комплекс. Они одинаково не любят как титульную нацию, так и еврейскую.

В Веймарской республике нееврейские евреи составляли заметную и яркую часть левых радикалов. Выдающимся представителем нееврейских евреев в тогдашней Германии был публицист и писатель Курт Тухольский. Он писал: "Эта страна, которую я предаю, - не моя страна; это государство - не мое государство; эта законодательная система - не моя законодательная система. Ее знамена для меня лишены всякого смысла, как и ее провинциальные идеалы. <...> Мы предатели. Но мы предаем государство, которое не признаем и отрицаем, в пользу земли, которую любим ради мира. Она и есть наша истинная родина - Европа".

Ненавистниками еврейского и русско-го были Лев Троцкий и Григорий Зиновьев. Подобную ненависть к американскому и еврейскому народу проявляют наиболее радикальные нееврейские евреи США, среди которых выделяется лингвист Ноам Хомский, считающий США и Израиль сатанинскими странами, силами зла.

"Всех их объединяет то, что условия, в которых они жили и работали, не позволили им примириться с идеями, которые были национально и религиозно ограниченными и вынудили их стремиться к универсальному Weltanschauung (мировоззрению - нем.)" - писал Дойчер о нееврейских евреях. О себе, как одном из них, он пишет: "Религия? Я атеист. Еврейский национализм? Я интернационалист. Ни в каком отношении я не еврей. Однако я еврей в силу безусловной солидарности с преследуемыми и уничтожаемыми. Я еврей, поскольку чувствую пульс еврейской истории, поскольку я хотел бы все сделать так, чтобы можно было обеспечить реальную, а не поддельную безопасность и самоуважение евреев".

До Второй мировой войны Дойчер отвергал сионизм как экономически отсталый и вредный для дела интернационального социализма путь, но после Холокоста он сожалел о своих довоенных взглядах и доказывал, что создание Государства



Ноам Хомский

Израиль было "исторической необходимостью" для обеспечения дома для выживших европейских евреев. Однако Дойчер приветствовал ассимиляцию евреев. Невзирая на осознание "деспотического жеста" императора, желавшего насильно женить каждого третьего еврея на христианке и каждую третью еврейку вынудить выйти замуж за христианина, Дойчер восхищался ассимиляционной политикой Наполеона по отношению к французским евреям, отставившего в сторону проеврейские заявления, сделанные им во время египетского похода, и планировавшего способствовать растворению евреев во французском обществе. Марксист солидаризировался с императором-тираном из-за позиции в еврейском вопросе.

Дойчер заметил существование архетипа нееврейского еврея, к которому относил Карла Маркса, Льва Троцкого, биографом которого являлся, Розу Люксембург, Курта Эйснера, Григория Зиновьева, Белу Куна и многих других. Согласно аналитической психологии Карла Густава Юнга, архетипы - универсальные, изначальные, врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного. Архетип нееврейского еврея, введенный Дойчером, не нов. Он хорошо известен евреям с древних времен и давно хранится в национальном сознании и в национальном подсознании. Его описание можно найти в старинном сказании, которое евреи читают на праздник Песах, праздник Исхода из Египта, исхода из рабства на свободу.

В Агаде упоминаются четыре сына, один из которых иронически спрашивает: "Что у вас за курьезные обычаи и воспоминания? Пришло время забыть "старые предрассудки". Этот еврейский мальчик исключает себя из еврейства, отталкивает от себя еврейские заботы, стыдится своего происхождения и устремляется к делам общего значения. Чем сильнее комплекс неполноценности из-за принадлежности к еврейству, тем большего значения нееврейские проблемы пытается решать этот еврей. Он равнодушен не только к евреям, но и к другим нациям, среди которых жи-

вет. Он предан лишь абстрактному "человечеству" или "пролетариату". Он не чувствует ответственности за разрушительные последствия своей "универсальной" активности, наносящей вред той или иной стране и евреям в этой стране.

Согласно ритуалу пасхальной вечера, такому сыну нужно "притупить зубы". Но он настолько оторвался от еврейства, настолько равнодушен к еврейскому народу, что критика евреев в его адрес ему безразлична. Он отрезанный ломоть, готовый отрезать евреев от человечества и принести их в жертву "общечеловеческим" целям, нередко бросить их на алтарь революции.

Сам Дойчер, убежденный марксист, отнес себя к категории нееврейских евреев, к которой, по его мнению, принадлежат также Спиноза, Гейне и Фрейд. Автор классификации нееврейских евреев считал этих людей лучшими представителями еврейского народа, ибо правильное отношение еврея к национальной традиции, по Дойчеру, - разорвать всякую связь с ней. Он относился к иудаизму как к гетто, которое ограничивает развитие еврейского народа и мешает ему принадлежать к передовому человечеству. Дойчер не признавал, что евреи уже принадлежат человечеству, даже сохраняя свои традиции. Он видел в евреях, отколовшихся от иудаизма, высшую "универсальную" и прогрессивную категорию общества. Получивший еврейское религиозное воспитание, Дойчер находил секулярные ценности самыми главными и обеспечивающими прогресс, то есть победу трудящихся. Он считал, что еврейский народ должен исчезнуть, ибо Маркс был прав, отождествляя евреев с капитализмом.

Марксистский путь социальных преобразований был не единственным в деятельности евреев по выходу из угнетенного положения. В 1920-х гг. группа евреев, социологов, философов и политологов создала Франкфуртскую школу, подвергшую западную цивилизацию сокрушительной критике. М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Э.Фромм, В.Райх, В.Беньямин и Г.Маркузе дезавуировали религиозные, национальные ценности западного общества, его экономический строй и оформили свои взгляды как неомарксистское учение.

Мыслители Франкфуртской школы подвергали критике все элементы западной культуры - христианство, капитализм, авторитет семьи, патриархат, верность традиции, сексуальные ограничения, и патриотизм. Их революция должна была быть не пролетарской, как у Маркса, а культурной. Революционные силы в их учении - не пролетариат, а "аутсайдеры", безработные, деклассированные элементы, люмпены, разочаровавшаяся в идеалах и ценностях своих отцов молодежь, народы стран "третьего мира" и разнообразные меньшинства. Движущие силы обновления - по большей части не производительные, не конструктивные, а разрушительные.

Идеология неомарксистов - равенство. Под равенством они понимают не только равенство в правах, но также искусственно или насильственно навязываемое равенство в достижениях. Они считают, что регулирование в получении благ - необходимое

средство исправления "зла", причиненного западной цивилизацией ее "отверженным". Они готовы дарить "угнетенным" то, чего те не добились своим трудом.

Атеизм, присущий Франкфуртской школе, привел к замене Бога личностью. Так возник культ личности, но не культ одной личности, личности тирана, а культ любой личности. Появилась абсолютизация личности самой по себе, даже если у нее мало достоинств. Индивидуализм, являющийся важной ценностью и преимуществом западной цивилизации, оказался ее существенной слабостью. Борьба за права личности приводит не только к обоюдному торжеству социального равенства между тружеником и бездельником, но и к потере ближнего как ценности.

Доведенная до абсурда тенденция "человек для себя" превратилась в тенденцию "человек только для себя". Воспылав невиданной любовью к себе, человек теряет друга, родного и любимого человека. Но он яростно отстаивает право иметь все права и быть центром Вселенной.

Психолог Эрих Фромм отмечал, что, став богом для себя, индивидуум конфликтует с другими, которые боги, как и он. Данная ему природой, генами, порция любви расходуется исключительно на любовь к себе. Любовь к другому нередко заменяется использованием другого. Инфляция любви к ближнему способствует отчуждению и одиночеству. Всесилие Бога подменяется всесилием личности. В отстаивании свободы для себя человек попадает в рабство к себе, подчиняясь правилу быть для себя центром Вселенной.

Новое поколение на Западе отличается от предыдущего большой сосредоточенностью на правах личности. В воспитании автоматически подразумевается, что культивирование прав личности улучшает общество. Личность как самоцель - нежна, избалованна, паразитична. Свобода оборачивается распушенностью. Каждый, кто замечает трудности в воспитании детей в атмосфере победившего либерализма, чувствует деструктивные тенденции абсолютизации личности. Индивидуализм как важная часть либерализма игнорирует коллективное в человеке и стимулирует эгоизм и эгоцентризм, угрожающие основам государства и общества.

Чувствуя угрозу со стороны выпущенного из бутылки джинна, Маркузе подвергает терпимость критике в статье "Репрессивная толерантность" (1965): "Толерантность по отношению к радикальному злу нынче подается как добро, поскольку она служит сохранению и упрочению целостности общества на пути от изобилия к большему изобилию".

Маркузе осуждает демократический Запад за непонимание фашизма и нацизма: "В прошлом речи фашистских и нацистских лидеров служили непосредственным прологом к резне. Дистанция между пропагандой и действиями, между организацией и воздействием на людей стала слишком короткой. Но влияние слова можно было бы остановить, прежде чем стало слишком поздно: если бы демократическая толерантность подверглась бы ограничению еще до того, как будущие политические лидеры начали свою кампанию, человечество

во, возможно, имело бы шанс избежать Освенцима и мировой войны".

"Влияние слова можно было бы остановить" - борьба с демократией без границ. Один из главных идеологов Франкфуртской школы ужаснулся при виде размеров открывшейся свободы и решил ее ограничить. Боровшийся с "насилием" "репрессивного" капиталистического общества, Маркузе обнаруживает необходимость в применении насилия и в частичном отказе от демократии. Сам философ сумел избежать Освенцима и найти убежище и работу в США, которые именовал фашистским государством.

Одно из последствий идей Франкфуртской школы было введение и использование понятий политкорректности и мультикультурализма, появившиеся на пике уважения к движущим силам новой культурной революции, к разнообразным бунтующим меньшинствам.

Еврей-неомарксисты Франкфуртской школы и их последователи отличаются от еврейских революционеров-марксистов. Внешне они выглядят более умеренными и значительно менее кровавыми. Общее у этих двух групп - направленность отвернувшихся от еврейства людей, сосредоточившихся на преобразовании "человечества". Чужие в стране, евреи желают возвыситься над своей общиной и приобрести статус демиурга. Творение действительности для других и делание счастливыми иных народов - излюбленное занятие еврейских вождей и мыслителей. Кипучая энергия, которая расходовалась на изучение ТАНАХА и Талмуда, переключается на преобразования мирового масштаба.

Идеи Франкфуртской школы проникли и в еврейское государство. Учение, обращенное против национальных и религиозных идей, против традиций и консерватизма, против превалирования какой-либо идеологии, оказалось соблазнительным приобретением для израильских левых. Индивидуализм, культ человека и знаменитое изречение Протагора "человек есть мера всех вещей" (а значит, народ - вторичная ценность) стали их идеологическим императивом. В арабо-израильском конфликте идеологически противостоящая арабам еврейская сторона исходит из патриотизма, национализма, этноцентризма, верности традиции - ценностей, не признаваемых левыми. Эсхатологические термины философии Шпенглера и Франкфуртской школы - "кризис", "крах", "закат", "упадок", "распад", "развал", "конец" - копируются израильскими левыми: "конец сионизма", "крах сионизма", "распад еврейского государства", "конец государства Израиль".

Революция, произведенная евреями "франкфуртцами", пришла на еврейскую землю и очаровала национально отчужденных левых борцов против "репрессивного", капиталистического и еврейского государства и за права арабов. Борьба за чьи-то права не всегда означает сохранение собственных прав.

Евреев обвиняли в создании учений и режимов социализма и коммунизма, в свершении революций, в заговоре с целью захвата власти над чужими народами, во вмешательстве во внутренние дела других наций, в порчу их культуры. Их призывали

уйти и заняться своими национальными делами. По мнению их противников, только уход, изгнание могли бы стать подлинной эмансипацией еврейского народа. Таким образом, только создание еврейского государства наряду с государствами других наций могло бы устранить еврейскую аномалию.

И вот евреи создали государство и занялись своими делами. Они отказались от претензий на исправление несправедливостей всемирно-исторического масштаба. Они решили, что пришло время действовать на благо своего народа в своей стране, а не спасать другие народы в странах рассеяния. Однако оказалось, что внутренние дела евреев в их государстве страстно волнуют тех, кто призывал к изгнанию евреев из стран диаспоры. И хотя еврейское государство далеко от Старого и Нового Света, оно притягивает к себе евреевненавистников и признается угрозой для многих и разных наций, такой же угрозой, какой считался еврейский народ, когда жил за пределами Страны Израиля и до ее воскрешения.

Сионистский государственный проект молод. Его критикуют те, кто видят в его реализации попирающие права другого народа, те, кто видят в нем падение национального духа и кризис религиозного мировоззрения, те, кто видят в нем проявление агрессивности и национализма, те, кто видят в нем избыток социализма, и те, кто осуждают характерный для него избыток капитализма. Еврейское государство критикуют так же сильно, как раньше критиковали евреев за отсутствие у них государства.

Среди океана критики заметно течение, основанное теми, кто никогда не подвергался антисемитским гонениям, - уроженцами Израиля. Многолетняя мечта о создании еврейского государства сменилась новой мечтой: постсионисты возжелали вывести Израиль на финишную прямую как еврейское государство и вознамерились преобразовать его в государство всех его граждан, то есть в том числе и арабских. Постсионисты, уроженцы страны, критикуют не только израильскую политику, но и отрицают сионистский проект и саму легитимность существования Израиля как еврейского государства. Они воспринимают сионизм как колониализм.

Хотя постсионизм является, на первый взгляд, новым движением, он представляет собой давно забытый старый антисионизм религиозных и секулярных евреев, протестовавших против "лжемессианского" движения сионизма. Постсионизм - это, в сущности, досионизм, не продвижение вперед, а возвращение на десятки лет назад, поворот от еврейского государства к рассеянию, отступление в исторический тупик, в котором евреи находились до создания Израиля. Еврейская самоненависть перешла из наследия европейских евреев в обиход уроженцев Израиля. Стремление к "улучшению" еврейского народа и "усовершенствованию" Израиля толкает постсионистов в лагерь противников существования еврейского государства.

*Желающие приобрести книгу
Александра Гордона "Коренные чужаки"
могут обратиться по адресу
algor.goral@gmail.com*

СОЕДИНЯЯ ПЛАСТЫ ИСТОРИИ

Алек Д.Эпштейн

7 февраля отметил 75-летие один из самых ярких, самобытных и неординарных художников из всех, когда-либо живших и работавших в Израиле. В своем искусстве он делает, казалось бы, вещи заведомо невозможные, соединяя образы из картин нидерландских художников XV-XVII вв. Рогира ван дер Вейдена, Рембрандта и Яна Вермеера, мастеров итальянского Возрождения Джорджоне и Донателло, великих испанцев Гойи и Веласкеса с гротескными элементами соц-арта, а буквы русского, английского и ивритского алфавита соседствуют на его картинах наравне с воспроизведенными страницами партитур музыкальных произведений. Удивительным образом, вся эта полифония разных живописных традиций и исторических аллюзий (достаточно сказать, что на его полотне, созданном в 1990 году, Юдифь несет голову не Олоферна, а Ленина, причем голову весьма конкретную - с памятника на броневике у Финляндского вокзала) способствует распознаванию авторского стиля сразу и безошибочно; так не рисовал ни тогда, ни позднее больше никто.

Александр Михайлович Гуревич родился в 1944 г. в Алапаевске Свердловской области, где его семья находилась в эвакуации. После войны родители будущего художника вернулись в Ленинград, где А.М.Гуревич прожил почти полвека. Его путь в искусство отнюдь не был прямым: в 1967 г. он окончил Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ), после чего в течение пяти лет работал инженером-конструктором. Лишь затем он получил художественное образование, окончив в 1975 г. вечернее отделение Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В.И.Мухомовой (ныне - Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица). С 1972 г. он работал в художественно-оформительской мастерской в небольшом городке Тосно (где жило тогда чуть более двадцати тысяч человек) в Ленинградской области.

Уже в 1975 г. Александр Гуревич принял участие в двух выставках, каждая из которых вошла в анналы истории неподцензурного искусства. Первая из них была открыта десять дней, с 10 до 20 сентября, в Доме культуры "Невский", и на ней экспонировались работы более чем восьмидесяти живописцев и графиков (это была - после короткой выставки в декабре 1974 г. в ДК им. Газа - вторая и последняя легальная выставка художников-нонконформистов северной столицы в советское время). Вторая же выставка Гуревича была полуправильной и прошла с 21 по 28 ноября в квартире бывшего тогда "в отказе" художника Евгения Залмановича Абезгауза (1939-2008) на проспекте Стачек.

Благодаря деятельности Американского комитета борьбы за советское еврейство, активистки которого вывезли несколько работ и ряд фоторепродукций

К юбилею художника Александра Гуревича



Александр Гуревич у картины "Церковь святого Моисея. Венеция" (2007), 13 января 2019 г. Фото А.Д.Эпштейна

картин участвовавших в этой выставке художников, 1 мая 1976 г. в университетском городке Беркли в Калифорнии при участии позднее ставшего лауреатом Нобелевской премии Эли Визеля была открыта выставка "Двенадцать из советского андеграунда", к которой был издан каталог, включавший, в частности, и групповую фотографию художников. Кроме покойного Осипа Абрамовича Сидлина (1909-1972), все художники, работы которых были представлены в квартире Е.З.Абезгауза, участвовали и в выставке в ДК "Невский".

Из этой "выставки двенадцати" сформировалась группа "Алеф" - первое в Советском Союзе неформальное творческое объединение, поставившее одной из своих основных целей "попытку возродить еврейские древние и средневековые традиции в искусстве". Попытка эта была в значительной степени наивной, ибо никакого систематического представления о еврейских традициях в искусстве у членов группы не было; по самокритичному замечанию Алика Рапопорта (1933-1997), "с нашим простодушием мы приписали еврейской культуре лучшие, известные нам, достижения мировой культуры". Важно, однако, что уже в 1975 г. в манифесте группы "Алеф" говорилось: "Нам хотелось бы перешагнуть через "узаконенное", так называемое "местечковое" искусство и найти истоки творчества в более древней, более глубокой, мудрой и духовной еврейской культуре, чтобы перекинуть от нее мост в сегодняшний и завтрашний день". Участники группы "Алеф" едва ли могли догадываться, что ровно так же рассуждали и мыслили основатели Школы искусств и ремесел "Бецаэль" (ныне - Национальная академия искусств и дизайна) в 1906 году, искавшие не пути художественного отражения трудной жизни подавляющего большинства евреев "черты оседлости", а язык, который стал бы мостом между народом, гордо возрождавшим свою национальную государственность на своей

древней земле, - и наиболее выдающимися произведениями духовной и материальной культуры, этим народом созданными.

Группа как таковая, однако, просуществовала лишь несколько месяцев: в самом начале 1977 г. Е.З.Абезгауз получил разрешение на выезд из СССР и эмигрировал в Израиль; еще раньше в США выехал Алик Рапопорт, а в Израиль - Татьяна Корнфельд (в 1978-1984 гг. и она жила в США); в 1979 г. в Израиль прибыли Александр Окунь и Анатолий Басин. Проблема, однако, состояла в том, что к концу 1970-х гг. художественная жизнь Израиля от заветов основателей "Бецаэля" ушла безнадежно далеко; фигуративную живопись вытеснили абстракции, а идеи национального возрождения великого народа на своей земле - битие себя в грудь с признанием коллективной вины перед страдающим под игом оккупации "палестинским" народом. Можно приводить те или иные эзотерические примеры, как будто свидетельствующие об обратном, но правда состоит в том, что никому из тех петербуржцев, кто, оставив свой город, прибыл в Израиль в надежде внести свой вклад в возрождение национальной культуры, не удавалось пробить стену враждебного равнодушия израильского арт-истеблишмента.

Александр Гуревич оставался в Петербурге еще четверть века, перенеся центр своей жизни в Иерусалим только в 1993 г. К тому времени ему шел пятидесятый год, он создал значительное количество бесподобных художественных произведений, но так и не увидел ни одной своей персональной выставки. Первая из них прошла в 1995 г. в Доме художника в Иерусалиме, после присуждения А.М.Гуревичу премии им. Мордехая Иш-Шалома, и лишь затем, спустя год, - в галерее "Серебряный век" в Петербурге; в 1998 г. прошла еще одна. Ныне в собрании Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI

веков находится одна картина А.М.Гуревича, написанная маслом на холсте, и двенадцать работ, созданных им в разных техниках на бумаге. Знаменитый Русский музей приобрел картину А.М.Гуревича "Бегство в Египет" и в 2000 г. включил ее в выставку, озаглавленную "Образ Христа в искусстве и культуре XIV-XX веков"; на этой картине, если верить заглавию, должно было быть изображено описанное в Евангелии от Матфея бегство семьи в Египет, но мы, скорее, видим автопортрет самого А.М.Гуревича, уводящего на Ближний Восток из Советского Союза собственную семью. Уезжал он внутренне очень долго, свидетельством чего стала созданная в 1991 г. картина "Ты еще здесь?". Купленная Русским музеем "Тризна" экспонировалась на другой выставке - "Портрет в России. XX век", прошедшей в 2001 г., спустя восемь лет после того, как сам художник покинул Петербург. Для того, чтобы получить в городе, где он вырос и провел большую часть жизни, давно заслуженное им музейно-выставочное признание Александру Гуревичу пришлось стать для Петербурга "иностранцем"...

Изданный в 2008 г. в США альбом, включающий репродукции избранных произведений Александра Гуревича, предваряют глубокие основательные статьи выдающегося культуролога Бориса Моисеевича Бернштейна (1924-2015) и видного коллекционера и документалиста петербургской арт-сцены второй половины XX века Николая Иннокентьевича Благодатова. Оба они акцентируют внимание на том, что А.М.Гуревич - художник петербургский. На мой взгляд, это и так, и не так: кроме уроженца Москвы Павла Николаевича Филонова (1883-1941), действительно прожившего большую часть своей жизни в городе на Неве, я не могу выделить ни одного собственно петербургского живописца, влияние которого на работы А.М.Гуревича представляется несомненным и значимым. Как свободомыслящий постмодернист, он "цитирует" в своих картинах произведения Рембрандта, Вермеера и других европейских художников; особенно часто он ведет диалог с уроженцем Лотарингии Жоржем де Латуром (1593-1652)... Нельзя не заметить, что все эти мастера творили тогда, когда Петербург вообще еще не существовал. При этом богатые традиции основанной в 1757 г. Императорской академии художеств, равно как и наследие питерского авангарда и нонконформистского искусства середины XX века, для творчества А.М.Гуревича существенного значения не имели: ни к числу последователей ленинградской школы 1920-1940-х гг., наиболее важными представителями которой были Владимир Гринберг, Александр Русаков и Татьяна Купервассер, ни к числу учеников и продолжателей Владимира Стерлигова, ни к "Арефьевскому кругу" - а это, пожалуй, главные маяки независимой питерской живописи второй половины XX в. - его не отнесешь. На картине А.М.Гуревича "Зал ожидания" воспроизведена первая



Александр Гуревич, "Пурим" (2016)



Александр Гуревич, "Гетто. Венеция" (2014)

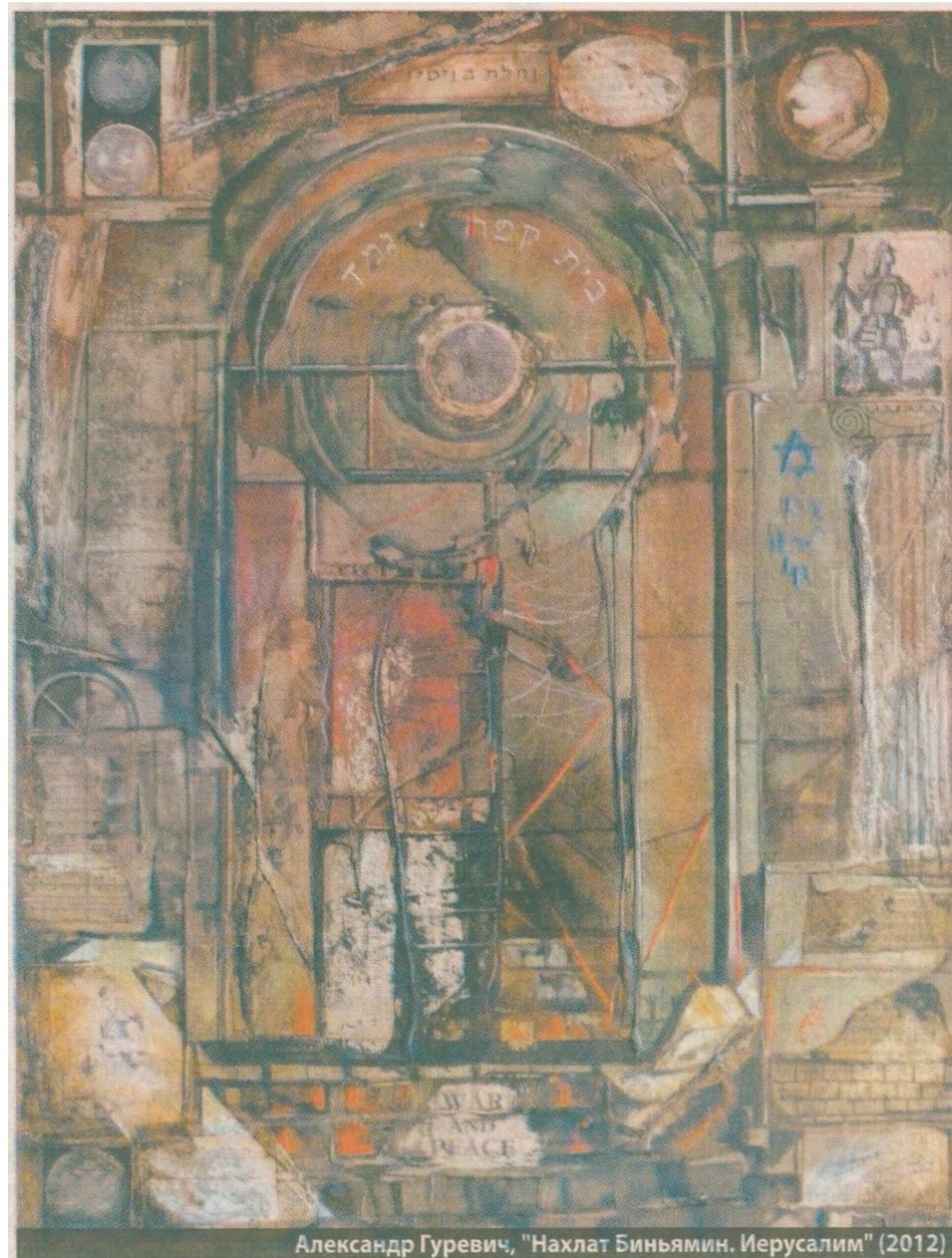
строка стихотворения, написанного О.Э.Мандельштамом в 1924 г.: "Нет, никогда ничей я не был современник", и мне видится здесь эпиграф ко всему его творчеству.

А.М.Гуревич художник петербургский в том, пожалуй, смысле, что именно северную столицу принято считать самым европейским городом России. Более того, диалог он ведет с западноевропейской живописью, переосмысливая мифологию, именно ее представителями неоднократно перенесенную на свои полотна. Равным образом и по манере исполнения им своих произведений Александра Гуревича невозможно назвать продолжателем и наследником какой бы то ни было российской художественной традиции: те же библейские сюжеты, которые вдохновляли Крамского и Ге, Репина и Семирадского на полотнах Гуревича выглядят абсолютно другими. А.М.Гуревич безусловно воспринял учение П.Н.Филонова об аналитическом искусстве, но эстетически их картины практически ничем не похожи между собой.

Все сказанное выше призвано под-

черкнуть несомненную самобытность дарования А.М.Гуревича. В мире сегодня работают десятки, если не сотни, тысяч людей, называющих себя художниками, но лишь считанные единицы из них смогли выработать свой, только им присущий, творческий почерк, позволяющий безошибочно определить их работы среди других; Александр Гуревич как раз из их числа. Его называли представителем "мифологического соц-арта", "метафизическим реалистом", отмечали якобы "очевидный отпечаток [на его творчество] иконы и немецкого экспрессионизма" - весь этот головоломный набор плохо сочетающихся меж собой терминов практически никак не помогает понять уникальные особенности искусства этого живописца...

Возвращаясь на сорок с лишним лет назад, представляется очевидным, что Александру Гуревичу, как, пожалуй, никому другому из художников группы "Алеф", удалось реализовать те цели и задачи, которые они перед собой поставили. При этом его путь к еврейству, начавшись в Библии, прошел через существующее с



Александр Гуревич, "Нахлат Биньямин. Иерусалим" (2012)



Александр Гуревич, "Зал ожидания" (2018)

1516 г. венецианское гетто, чтобы прийти в Иерусалим - не помпезно-пафосный, а реальный город людей, которые в нем сегодня живут. Именно в этом городе девятнадцать лет назад увидел свет альбом, включающий репродукции 24 картин мастера. В последние четверть века персональные выставки художника проходили в разных странах: три из них состоялись в Германии, в том числе в 1999 г. в Обергессенском музее в г. Гисен, две - в Тель-Авиве, две - в

Сан-Франциско (готовится еще одна), одна - в Лиссабоне (Португалия). В 1996 г. работы А.М.Гуревича также экспонировались на Международной триеннале современного искусства в Осаке (Япония). Хочется надеяться, что и израильские ценители искусства получат, наконец, возможность и увидеть большую выставку Александра Гуревича, и приобрести для своих домашних библиотек представительный альбом-каталог его работ...

МОЙ ДОБРЫЙ ДРУГ ШЛОМО

Шуламид ШАЛИТ

Удивительно и странно было по приезде в Израиль обнаружить могилу не только бабушки, но и прабабушки, о которой ты не знал ничего, как будто и не жила никогда... Окажется, Черна Гринблат приехала вслед за сыном Берлом (Довом), жила здесь и похоронена на кладбище в Ришон ле-Ционе. Так узнаешь, что корни твоей семьи со стороны отца в этой земле пока что одной ниточкой, глубже, чем ты мог себе представить. Потом появится и другая, со стороны матери... Раздумывая о судьбах членов семьи Эвен-Шошан, я невольно коснулась темы поиска своих корней, потому что Шломо, израильтянин, приехавший в страну подростком и проживший тут всю жизнь, мечтал разыскать свои корни, свои могилы в белорусской земле. Шломо даже думать себе не позволял, что появится такая возможность. И вдруг это чудо случилось, и он с волнением, спустя почти сорок лет, в 1963 году, поехал искать природу, воздух родных мест и, прежде всего, могилу отца - учителя иврита, писателя, просветителя Хаима-Давида Розенштейна. Может, жив еще кто-то из друзей детства, ранней юности?..

Минск оказался для него выжженной землей. Чужой, не тот город, что вспоминался иногда во сне. В репродукторе, прямо на улице, как в кино о войне, барабанная речь... Еврейское кладбище далеко от центра, но и сюда доносится какой-то маршевый гул...

Но почему встречаемые им евреи, старики и старухи, шарахаются в сторону? А на лицах, он же это видел, неподдельный испуг... Не понимал. Он столько читал об их интернационализме, дружбе народов и потом - почти двадцать лет после войны, они остались живы - чего они боятся? На каком языке с ними разговаривать, если не на идише? Сказал одному-другому: "Их бин фун Исрэл", так один побледнел, другой напрягся и оглядывается - не слышит ли кто.

А если подумать: какой израильтянин в начале 1960-х годов добирался до Белоруссии? Он не знал, что закрыли Центральную синагогу, еврейский театр...

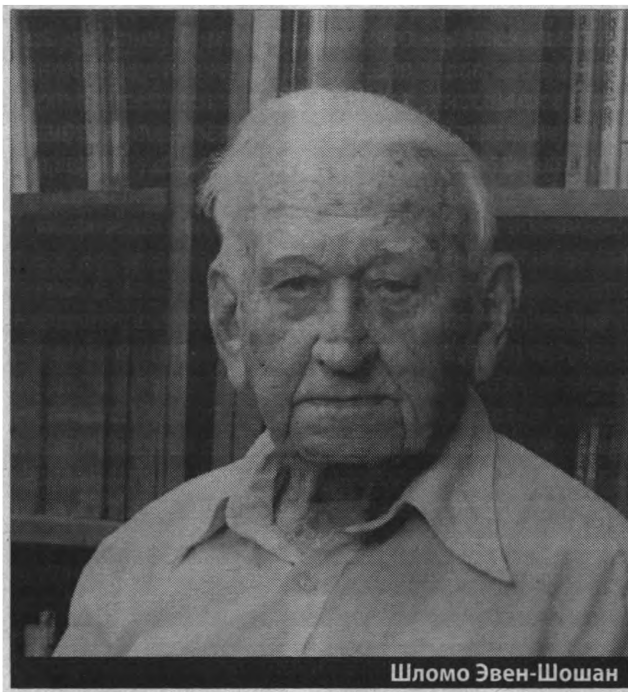
Стоит он на мосту над рекой Свислочь и смотрит вниз, на воду. Бьются мысли, громко колотится сердце. Вспомнил, мальчишками, когда отец обучал ивриту, были у него разные шуточные словесные игры. Отец спрашивал: "Клум йодим атэм ма машмаут шель а-пасук "вэ-бау ле-Цион бэ-рина?", то есть "знаете ли вы, что означает: вэ-бау ле-Цион бэ-рина?" ("и с ликованием пришли в Сион?"). На иврите слово рина - пение, ликование, но в ашкеназском наречии произносилось рина, а на идиш ринэ - струя воды, поток... Смастерил отец бумажную лодочку, подошел к кромке тротуара и пустил лодочку в ринэ - в бурливый ручеек... Течение подхватило лодочку, понесло. "Куда доплывет наша лодочка?". Мальчишки молчат, тогда он поясняет: "Из Свислочи в Березину, оттуда в Днепр и к Черному морю, из Черного в Средиземное, а там уж и берег Сиона... Не забудьте, дети, это выражение из ТАНАХа". Так, вслед за старшим братом Цви отправился в Сион средний, Авраам, а потом уж доплыла лодочка и младшего - Шломо, это было в 1925 году. Он столько лет мечтал сказать отцу, что помнит его урок.

Ходил по еврейскому кладбищу, искал...

Мир праху твоему, отец...

Могилы отца не нашел. Встретился, правда, с дальней родней, друзьями детства в Минске, Ленинграде. И даже в своих квартирах слово "Израиль" кое-кто произносил шепотом. Да почти все! Но с тех пор многие давно в Израиле. Пинхас Перлов приехал, семья Шапиро... Дочь писателя Ури Финкеля...

Шломо родился в Минске в 1910 году. Атмосфера дома была буквально пропитана сионизмом и ивритом. Здесь учили иврит, обучали ивриту, читали на иврите, дети, трое сыновей и дочь, так или иначе связали свои жизни и творческие судьбы со Словом. Старший, Цви,



Шломо Эвен-Шошан

общественный деятель и автор трехтомного исследования о рабочем движении в Израиле, средний, Авраам - языковед, исследователь, учитель, создатель словарей, сестра Рахель тоже педагог, воспитательница в детском саду, Шломо - писатель, поэт, переводчик и редактор. Отец умер в Минске, мать похоронили в Иерусалиме.

Как многие до него, из первой, второй и третьей волн репатриации, Шломо не помышлял всерьез о занятиях литературой. Они знали, что эта земля требует не их пера, а их рук, в самом прямом смысле этого слова, и учились возделывать землю, осушать болота, строить дороги, растить деревья, высаживать овощи.

Поворот в судьбе Шломо произошел за одну ночь, в возрасте 30 лет. Такое чаще бывает в театре, в кино: когда вчера никому неведомые актриса или актер наутро вдруг становится звездой. Он был выпускником знаменитой сельскохозяйственной школы "Миквэ Исраэль", одним из основателей кибуцов Эйн Харод, Сде-Нахум, организатором и начинателем многих добрых дел в них. Конечно, он давно пописывал и даже печатался, но когда ему предложили стать редактором кибуцного издания, выходившего в Эйн Хароде, он был озадачен: справится ли? Без особого энтузиазма, но согласился.

А когда журнал вышел, он как бы в одночасье превратился в редактора-профессионала. Сегодня такие вещи невозможны. Но в том-то и дело, что первые наши крестьяне, кухарки, портнихи, прачки, строители на этой земле, в большинстве своем происходили из интеллигентных семей с хорошим классическим или неформальным образованием. Потом оказывалось, что многие из них - поэты, писатели, художники - скрывали или запрятали до поры свой талант, ибо искренне стремились стать настоящими прачками и кухарками, умелыми крестьянами и строителями, выносливыми солдатами... Работали и воевали, чтобы подготовить почву для будущей жизни, где будет место искусству и литературе. Они и приехали с этой целью - готовить страну для будущих поколений.

Если вы поедете из Афулы в Бейт-Шеан, в сторону реки Иордан, слева увидите таблички и стрелки с названиями кибуцев "Мерхавия", "Эйн Харод", "Тель-Йосеф", "Бейт а-Шита", "Сде-Нахум" (его кибуц), а по правую сторону - "Хефциба", "Бейт-Альфа", "Ган а-Шлоша"... Зеленые и благодатные места, упоение для глаз, все цветет, причем вне зависимости от времени года, все ухожено, дышится легко...

И кто сегодня думает, каким трудом, какими лишениями все это возводилось?

Им завидовали. Их упрекали в роскошной жизни. Но

это пейзаж. А внутри дом кибуцника был мал и скромнен. Одна из героинь очерков Шломо, Фаня Бергштейн, гордилась, что ее называют лучшей портнихой в кибуце. Прославилась ли, как поэт? Шломо считал, что ей недодано: замечательным человеком и тонким поэтом была Фаня. А разве Рахель не считала делом своей жизни работу на земле, у берегов Кинерета? Он напишет о них и о времени, когда неловко было считать себя не портнихами, а поэтами, писателями, композиторами. Главным было делать свое дело своими руками, и как можно лучше, чтобы от тебя была польза...

Но талант ведь спрятать нельзя, он все равно проклюнется. Так и Фаня, и Рахель, и сам Шломо Эвен-Шошан: "Я - кибуцник. Приучен всю жизнь довольствоваться малым и самого себя обслуживать - во всем".

Оказавшись по дороге в Советский Союз в Стамбуле, в роскошной гостинице "Хилтон", он должен был себя уговаривать, что заслужил "легкую" жизнь на один день... Его рассказ об этой поездке, единственной поездке в Советский Союз, больше он туда никогда не ездил, о встречах с известными русскими писателями, с некоторыми из которых он позднее сохранял переписку, сегодня читаешь то с грустью, то с улыбкой, но на одном дыхании, потому что написано эмоционально и мила каждая мелочь, замеченная сторонним человеком. Как наивно он разыскивал генерала Ковпака в городском справочном бюро. И не понимал, почему ему не дают адреса такого известного даже в Израиле легендарного партизана...

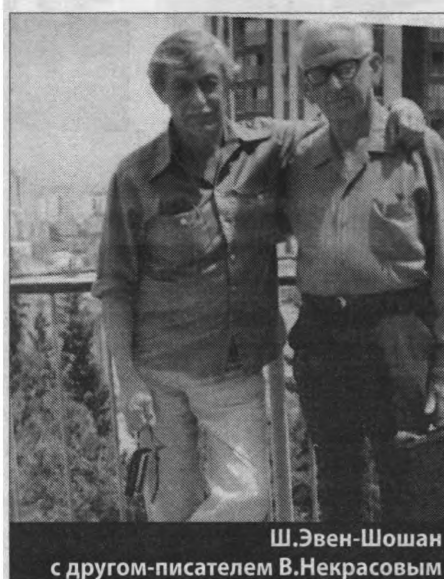
Где он тогда побывал? В Одессе, Киеве, Москве, Минске, Ленинграде. Подружился с Виктором Некрасовым. Волнующей и сердечной была встреча с Александром Беком, чью книгу "Волоколамское шоссе" он перевел в далеком 1946 году. "Аншей Панфилов", то есть "Панфиловцы", стала настольной книгой бойцов ПАЛЬМАХа. А встреча с необыкновенной Фридой Вигдоровой? Читаю: "В комнату вплыли два черных глаза". Как точно. И я помню эти черные горящие глаза, но не в комнате, а в большом зале, когда она пришла в Литинститут на какое-то разгромное собрание, чтобы кого-то защитить, спасти (это было задолго до "дела И. Бродского"). Шломо подружился и с Евгением Евтушенко, его "Бабий Яр" он перевел первым в мире, опубликовав его спустя всего два месяца после нашумевшей на весь еврейский свет советской публикации, в 1961 году. Моя мама, светлая ей память, хранила перевод "Бабьего Яра" на идиш всю свою жизнь... На иврите сборничек Эвен-Шошана, в нем всего 50 страниц, "Бабий Яр. А-шир ве а-шар" ("О песне и о певце") переиздавался много раз. Шломо эти встречи - и с теми, кого он сам переводил, и с теми, кого другие переводили, с евреями и неевреями - необычайно взволновали.

Приехав в Израиль в 15-летнем возрасте, он с годами забыл русский язык, читать умел, а разговаривать разучился. Но во время Второй мировой войны начал переводить письма русских солдат с фронта - из советских газет. Интерес к России и ее литературе на каком-то этапе стал настолько сильным, что он читал все, выходившее там и доходившее в Израиль, в том числе толстые литературно-художественные журналы "Знамя", "Новый мир". И разговорный русский вернулся.

Он читал, разумеется, и на идише, и не только горячо приветствовал прибытие в страну поэтов Иосифа Керлера, Рахели Баумволь и Зямы Телесина, но и переводил их на иврит и издавал. Писатель и переводчик Авраам Белов-Элинсон, приехавший в Израиль из Ленинграда, был буквально потрясен, узнав, что, не помышляя о встрече и личном знакомстве с ним, Шломо долгие годы собирал и хранил в своем архиве десятки вырезок с публикациями Белова о советских гебраистах, редкие переводы с иврита, словом, читал все его работы. "Чудо! чудо!" - повторял А.Белов, не зная, что я его



Евг. Евтушенко в гостях у Ш.Эвен-Шошана

Ш.Эвен-Шошан
с другом-писателем В.Некрасовым

когда-то процитирую. Приезд почти каждого литератора Шломо Эвен-Шошан встречал, как личный праздник, одарял вниманием, дружеской и профессиональной помощью. Он успевал объять необъятное: следил за новинками, за литературным процессом там и тут и активно вмешивался в него, отбирая стихи и прозу, переводил, редактировал, издавал.

Можно перечислить очень много. Шломо перевел на иврит с идиша книгу стихов Переца Маркиша, а потом с русского - книгу прозы его сына Давида Маркиша. Издал, с обширными примечаниями, 300 писем гениального Бориса Гапонова, который, живя в Грузии, выучил иврит и перевел "Витязя в тигровой шкуре" Руставели. Гапонов был молод, но очень болен и не успел закончить работу над сборником переводов стихов Лермонтова, и эту работу, кропотливую и благородную, завершил Шломо Эвен-Шошан. Он отредактировал ее, подготовил к печати и "доложил" Белову: "Я это завершил", потом смущенно добавил: "Я это, как говорят по-русски, со-вершил!".

Я держу в руках двухтомник "Минск" - сборник обширных монографий и небольших эссе о поэтах и писателях родом из Белоруссии (издано в 1979 г.). Кроме Фани Бергштейн нахожу имена Моше Басока, Ицхака Табенкина, Ицхака Кацнельсона. Первым из российских литераторов, которых он будет переводить почти полвека, стал Константин Симонов ("Мой перевод "Жди меня" точнее, чем Шленского, я нашел это стихотворение в газете в 1943 году, потом перевел и почти весь сборник стихов К.Симонова "С тобой и без тебя"), за ним пришли Марк Шехтер, Борис Балтер, Расул Гамзатов, Анатолий Кузнецов... Последний - тоже особая страница, особая тема, он сохранил около 30 писем Анатолия Кузнецова. Сначала - из Союза, затем из Англии, из Лондона... Если русские или русско-еврейские имена знакомы нам, то об Ицхаке Кацнельсоне, поэте-мученике, погибшем в Варшавском гетто, мы в России не знали ничего. Да и израильтяне до Шломо Эвен-Шошана знали мало.. Это годы исследований, сбора и сопоставления материалов, дат, событий. И поразительные открытия.

Жили-были и учились в Воложине не только М. Бердичевский и Х.-Н.Бялик, но и три друга (их называли "не разлей вода") - Яков-Беньямин Кацнельсон, пишется с буквой "куф", Моше Кацнельсон - на "каф" и Моше Табенкин. И стали они отцами трех знаменитых сыновей, которые, каждый в своей области, вошли в еврейскую историю и литературу. Это поэт Ицхак Кацнельсон, писатели-сионисты и общественные деятели Берл Кацнельсон и Ицхак Табенкин. Среди многочисленных открытий Шломо Эвен-Шошана только один этот факт мог бы стать темой занимательной книги, пьесы, киносценария. Таких открытий просто россыпи на страницах книг нашего скромного героя...

С В.Некрасовым, Е.Евтушенко и А.Кузнецовым Шломо Эвен-Шошана связала трагическая тема Бабьего Яра. За два года до публикации стихотворения Е.Евтушенко, 10

октября 1959 г. в "Литературной газете" была опубликована статья Виктора Некрасова о Бабьем Яре. Киевлянин, русский писатель, обласканный и возведенный в сталинские лауреаты за книгу "В окопах Сталинграда" - какое дело было ему до наших печалей, до Бабьего Яра? Но он негодовал, он возмущался, ведь с конца войны прошло 15 лет, но до сих пор не воздвигнут памятник евреям - невинным жертвам массовых расстрелов, а тут вдруг дикий план о создании на этом кровотоющем месте парка и стадиона! Сегодня поступок Некрасова не кажется чем-то особенным. Но тогда, растрогав евреев, он удивил многих друзей и почитателей его таланта и восставил против себя антисемитов.

В очерке "Первое знакомство", совсем на другую тему, о Париже, Виктор Некрасов пишет: "По Парижу не только легко ходить, по нему приятно ходить. Не ездить, а именно гулять... По Берлину, например, гулять не хочется. По Ленинграду, по Праге - хочется. А по Парижу еще больше". Для Шломо это было "обаятельное" чтение. Он Виктора Некрасова выделил и возлюбил навсегда. А что вытворяли с этим человеком в Советском Союзе? Наивный и добрый Шломо возмущался: они смеют упрекать Некрасова в том, что ему по чужому Парижу гулять еще приятнее, чем по Ленинграду? Но чем это угрожает советской власти? В "коммунистических идеях" он разочаровался и разуверился.

"Они, - сказал Шломо, - дождались своего часа. Некрасов эмигрировал. Он в Париже грустил, а я за него радовался. Сейчас он в безопасности. А там могли и посадить". Гостивший в Израиле приемный сын Некрасова, Виктор Кондырев, рассказал, что в Киеве упорно распускают слух, будто Некрасов вообще-то еврей. Зачем бы ему якшаться с евреями, ходить на их "сходки" к Бабьему Яру? Мать Некрасова, которую писатель любил больше всех на свете и был с ней неразлучен, в старости как будто съезжилась, маленькая такая старушка, и нос у нее сделался с горбинкой. Вот и говорили: "Вы посмотрите на его мать, сразу видно, кто такой Некрасов..." Шломо прочитал все его книги: "Наша дружба была бескорыстной, я даже не переводил его".

Мне давно хотелось рассказать о Шломо Эвен-Шошане, будто вернуть некий долг. От него я получила найденные им и неизвестные еще стихи поэтессы Рахель на русском языке. Он же прислал мне, как бы подарив, свою переписку с некоторыми репатриантами, которые стали и моими друзьями. Зинаида Тверская-Финкельберг из Нетании вышла на Эвен-Шошана в поисках следов своего дяди Сени Тверского, бывшего секретаря кибуца Эйв Харод. Да, он знал ее дядю. Между ними завязалась переписка. Шломо Эвен-Шошан - Зинаиде Тверской (стиля я не правлю, переписала с разрешения сторон):

Кибуц Сде-Нахум. 03.06.91.

"Сию за столом, голова уже склоняется вниз, глаза замыкаются и рука с пером беспомощно опускается на стол... Четыре года без Виктора Петровича... как много и радикально изменилось все в Союзе... Помнить Некрасова, думать и горевать о нем я не перестал. И это

горе сблизило меня с Вами, а перед тем - еще с двумя женщинами. Одна, Сарра Шойхет, проживает в Йокнеаме, она собрала всего Некрасова, и все о нем (позднее пришлет мне три номера журнала "Континент" - Ш.Ш.). А вторая, Лина Лацман, вдова идишского поэта, опубликовала в газете "Наша страна" статью о Некрасове. Назвала ее "Объяснение в любви". Статья была душевная, искренняя, получила много откликов. К счастью, В.Некрасов успел ее прочесть. Только когда его не стало (1987), Лина впервые опубликовала строчки В.Некрасова из письма к ней: "Очень тронули Вы меня своей статьей - добралась-таки она до меня..."

Самым дорогим и нежно любимым другом стал Виктор Некрасов. Он был в Израиле в 1976 году, в 35-ю годовщину Бабьего Яра, а затем и в 1981 году. Вот они на снимке рядом - седой Виктор Некрасов обнимает своего друга - первого израильтянина, с которым он познакомился, с которым, не в пример многим другим, не побоялся встретиться еще в 1963 году, а затем и переписываться. За два года до смерти, в парижской "Русской мысли" В.Некрасов опубликовал статью "Он опять поднимает голову". Первая строка - "Он - это антисемитизм". Может быть, дружба со Шломо тоже способствовала неугасанию интереса русского писателя к этой теме.

Ш.Эвен-Шошан написал мне: "Виктор Некрасов снова и всегда актуален, жаль, что его нет сегодня. Он нашел бы, что ответить европейским интеллектуалам. Одно дело, когда за себя говоришь сам, другое, когда говорят Золя, Короленко, Некрасов..."

Удивительный Шломо: у него всегда на все и на всех хватало времени. И души.

"1 декабря 1990 г. Кибуц Сде-Нахум.

Дорогая Зина! Меня очень радует оптимистический дух Вашего письма и Ваши впечатления от нашей родины. У меня нет большего желания на старости лет, лишь бы Вы и десятки тысяч других олим так чувствовали себя всегда, и чтобы у Вас не было повода разочароваться в этом. Я - с вами, с этой фантастической, казавшейся несбыточной, анией обретаю новую молодость..."

С тех пор Шломо Эвен-Шошан издал еще много новых книг. Аккуратные такие сборники, небольшие. Тут и Б.Чичибабин, А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Цветаева, А.Вознесенский, Б.Слуцкий. И даже "личная" (как он ее назвал) антология из переводов российских поэтов, которым Шломо отдал почти полвека. Собрал стихи двенадцати поэтов, писавших на идише, перевел их на иврит и посвятил книгу "Ми-сфат ими" ("С языка моей мамы") Рушке Финкель-Розенштейн, своей матери, родившейся в белорусском местечке Раков и похороненной на Масличной горе в Иерусалиме. Долго ждал, что кто-то напишет о его брате Аврааме, прославленном авторе словарей иврита, филологе и воспитателе. Не дождавшись, сел и сам написал о нем книгу.

Но вернемся во времена более отдаленные.

В 1965 году, весной, Виктор Некрасов писал в Израиль из Ялты: "Сейчас я с мамой вырвался, наконец, из московско-киевской суеи... Здесь тихо, спокойно, не одолевает телефон и можно собраться с мыслями... Не знаю, как у Вас, а у нас в этом году что-то никак не наступает тепло..."

Как жаль, что Шломо, отправляя письма, не сохранял копии. Наверное, писал в ответ, что в Израиле на всех дорогах стоит запах цитрусовых, повсюду цветут розы, и в море уже давным-давно купаются...

Шломо Эвен-Шошан скончался в 2004 году, всего шесть лет не дожив до своего 100-летия.

"Он влюбил в Израиль десятки людей, - сказал Авраам Белов-Элинсон. - Скромный, отзывчивый, трудолюбивый... бесребренник, идеалист, халуц по натуре и по убеждениям. Он достойно представлял поколение, заложившее основы Государства Израиль, возродившее его древний язык, обновившее его литературу".

Пора и нам платить хотя бы добрым словом таким людям, как Шломо Эвен-Шошан, которые искренне считали нас "фантастической, казавшейся несбыточной анией". Оправдали ли мы их надежды?

ПОДВИЖНИК

Гиль Шохат и мир музыки в Израиле

Александр-Элиэзер ЭПШТЕЙН

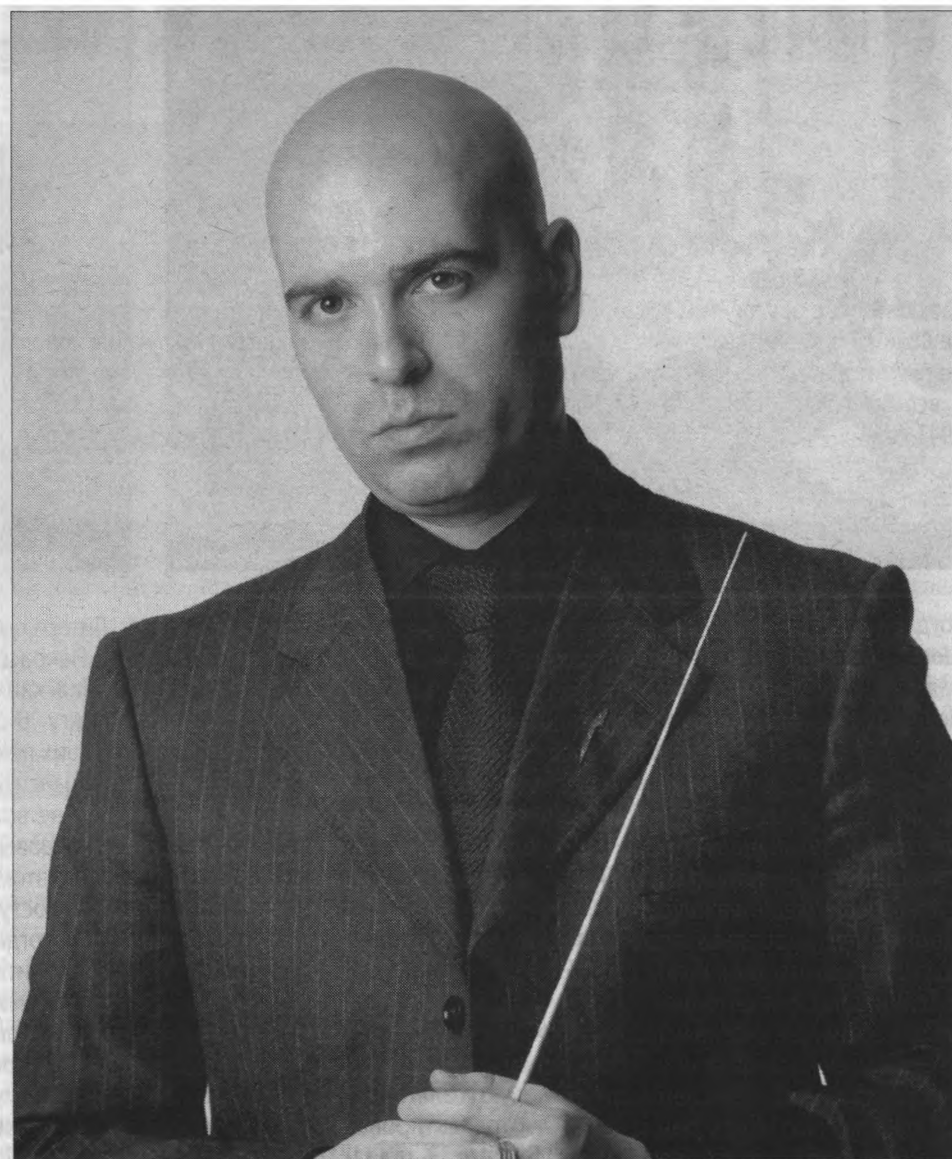
В сфере академической музыки Израиль является державой мирового значения. Прекрасные оркестры, два из которых - Израильский филармонический и Иерусалимский симфонический - старше самого государства; камерные ансамбли; ставшие традиционными фестивали, в которых принимают участие крупнейшие инструменталисты планеты - все это дает заслуженный повод для гордости. Есть, однако, ложка дегтя, сильно отравляющая эту бочку меда, - проблема аудитории: растет не количество посетителей концертов академической музыки, а их средний возраст, с ужасом заставляющий думать о будущем. Когда почти тридцать лет назад я приехал в Израиль, в стране жило менее пяти миллионов человек; сейчас же нас почти девять миллионов. Несмотря на этот почти двукратный рост населения, количество билетов, которые удается продавать крупнейшему и наиболее известному Филармоническому оркестру, последние полвека руководимому легендарным Зубином Метой, сократилось настолько, что в Хайфе вместо трех абонементных серий концертов осталось две, а в Иерусалиме вместо двух - одна. Ситуацию, понятно, спасает Тель-Авив, где абонементных серий у Филармонического оркестра целых десять и где находится единственный в стране оперный театр, в котором каждая из семи постановок демонстрируется одиннадцать раз за сезон, но почти вся культурная жизнь страны не может и не должна быть сосредоточена в одном ее городе, пусть даже самом крупном. Подобно тому, как всем нам известно, что "Москва - это еще не вся Россия", так и Тель-Авив - это отнюдь не весь Израиль.

Проблему, в общем, понимают все - и говорят много правильных слов о необходимости поиска ее решения, но, кажется, лишь один человек в Израиле от слов перешел к делу, причем масштабы его активности поражают воображение. В Бат-Яме и Модиине, в Ор-Акиве и Явне, в Кирьят-Моцкине и Маале-Адумим, в Петах-Тикве и Кармиэле - в городах, где в принципе никогда не проводилось концертов классической музыки, - недавно отметивший 45-летие Гиль Шохат проводит абонементные циклы, собирая несколько сот человек каждый вечер. А на открытые концерты, которые он с коллегами-музыкантами дает в городских парках, приходят тысячи людей. Вместе с оркестрами, которыми он дирижирует, Гиль Шохат выступает с самыми популярными эстрадными певцами страны, имена которых магнитом притягивают слушателей: так, в Ришон ле-Ционе организуется совместный концерт с Мариной Максимилиан, в Бат-Яме - с Дэвидом Броза, в Петах-Тикве - с Ярденей Арази, в Кирьят-Хаиме - с Даной Интернешнл, в Иерусалиме - с Нури Гальрон. На этих концертах эстрадные певцы выступают в достаточно непривычном для них сопровождении симфонического оркестра, который и сам исполняет различные произведения - и для многих слушателей это первая встреча с миром класси-

ческой музыки, за которой часто следуют и другие. Мне самому посчастливилось побывать на подобных концертах, где вместе с Гилем Шохатом и его коллегами выступали знаменитые эстрадные певцы Рами Кляйнштейн и Харель Скаат, до и после появления которых на сцене публика с интересом и в тишине слушала произведения Бетховена и Шуберта! В декабре прошел творческий вечер, в котором наряду с сидевшим за фортепиано Гилем Шохатом на сцену вышли меццо-сопрано Злата Хершберг и легендарная актриса театра "Габима" Лия Кениг. В апреле Гиль Шохат выступит в Иерусалимском театре как аккомпаниатор вместе с певцами Даном Шапиро и Даниэлой Логаси, которые исполнят песни из репертуара любимого миллионами людей недавно ушедшего из жизни Леонарда Козна, а в июле там же сценическим партнером Гиля Шохата станет прославленный кантор Дуду Фишер, хорошо знакомый миллионам зрителей по многолетнему исполнению им ролей Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные" и Тевье-молочника в мюзикле "Скрипач на крыше"; российские евреи помнят его по триумфальному выступлению в Зале им. Чайковского в Москве в декабре 1989 года.

В своей открытой для слушателей студии в доме в старом Яффо, а также в разных городах страны Гиль Шохат проводит серии фортепианных концертов, в ходе которых каждое исполняемое произведение предваряется небольшой лекцией-импровизацией. Его репертуар очень широк, причем все произведения - лично мне довелось слушать Скарлатти и Баха, Моцарта и Бетховена, Шопена и Равеля - он почти всегда исполняет наизусть. Он работает неправдоподобно много, иногда выступая даже по несколько раз в день, вследствие чего каждый сезон его слушателями оказываются несколько сот тысяч человек! Помню, как перед концертами в Тель-Авиве оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова именно к Гилю Шохату обратились организаторы с просьбой о том, чтобы он рассказал коренным израильтянам о Д.Д.Шостаковиче и его "Ленинградской" симфонии. Никто и никогда в Израиле не сделал столько для популяризации классической музыки, сколько Гиль Шохат, всей своей деятельностью доказывающий, что она может быть нужна, востребована и любима.

Нужно отметить, что музыка русских композиторов занимает большое место в репертуаре Гиля Шохата. Так, 13 января в Маале-Адумим прошел незабываемый фортепианный концерт, полностью отданный произведениям М.П.Мусоргского и С.В.Рахманинова, в апреле состоится вечер в Иерусалимском театре, в котором примет участие замечательный пианист Виктор Станиславский и который будет целиком отдан музыке С.С.Прокофьева, а в июне в Модиине он будет посвящен симфонической музыке С.В.Рахманинова, причем наряду со сверхпопулярным во всем мире Третьим фортепианным концертом, будет исполнена и отнюдь



не часто исполняемая Вторая симфония. Однако уже сейчас, за четыре месяца до концерта, большая часть мест в зале распродана - и остается только поражаться тому, что всю эту подвижническую деятельность ведет практически один человек...

Гилю Шохату не было "на роду" написано стать тем, кем он стал. Он родился в Рамат-Гане за месяц до начала Войны Судного дня. Его скончавшийся в 2010 году отец - уроженец Ирака - преподавал математику, а потом был директором школы, а мама, родившаяся в Австрии в семье переживших Холокост уроженцев Польши, известна как театральный критик. С детства отличаясь феноменальным слухом и фантастической памятью, Гиль Шохат уже в одиннадцать лет написал свое первое произведение для фортепиано соло. Когда ему было всего восемнадцать, Израильский камерный оркестр заказал у него партитуру - так появилась кантата "Соловей и роза" на слова Оскара Уайльда, и так началась связь Гиля Шохата с оркестром, художественным руководителем которого он стал в 2004 году и пробыл четыре сезона. Закончив в 1991-1995 годах обучение на степени бакалавра и магистра в Высшей школе музыки Тель-Авивского университета и получив два диплома с отличием, он стажировался в Академии Санта-Чечилия в Риме и в Кембриджском университете. С тех пор он выступает по всему миру как солист, дирижер и лектор, организовав ряд фестивалей, концертных циклов, мастер-классов.

По словам Гиля Шохата, начиная с 1993 года, когда он написал свою Первую симфонию, он двенадцать лет посвящал большую часть своей жизни созданию новых парти-

тур, написав девять симфоний и пятнадцать инструментальных концертов! Написанное им произведение для фортепиано соло в 1997 году было выбрано жюри конкурса им. Артура Рубинштейна как обязательное для исполнения всеми участниками. Он получил ряд наград, в том числе премию главы правительства Израиля для выдающихся композиторов, а в 2009 году стал кавалером французского Ордена искусств и литературы. Две написанных им оперы были поставлены на сцене в Израиле, причем первая из них - "Альфа и Омега" - была названа Академией театрального искусства наиболее значимым событием 2002 года. Тогда же был выпущен комплект из пяти дисков, на которых были записаны главные произведения Гиля Шохата, созданные к тому времени, в том числе Первая и Третья симфонии и Скрипичный концерт; эта опера, исполненная солистами, хором и оркестром под управлением ныне уже покойного Гарри Бертини представлена на них целиком. С волнением сам Гиль Шохат рассказывает о том, что осенью запланирована премьера этого произведения в руководимом Дмитрием Бертманом театре "Геликон-опера" в Москве.

Гиля Шохата отличают не только совершенно феноменальное дарование и беспримерная работоспособность; он - открытый, искренний, чрезвычайно доброжелательный и отзывчивый человек, сумевший выстроить свою общественную и личную жизнь так, чтобы в наибольшей мере сохранять верность себе самому. Не покривлю душой, если скажу, что посещение его концертов и знакомство с ним самим принадлежит к числу самых лучших подарков, за которые я более всего благодарен судьбе.

О ЖИЗНИ - ВКРАТЦЕ

К 80-летию поэта

Марк ВЕЙЦМАН

Вот первые детские впечатления: трясущиеся руки матери, собирающей меня, трехлетнего, в бомбоубежище, что на улице Франко в Киеве, эвакуация в теплушке (нары в три этажа), разрывы бомб, грохот и вспышки. Это последняя декада июня 1941-го.

Далее - уральский город, окруженный лесом, бревенчатый дом, полати над русской печью, по которым ползают клопы. Дикие морозы. Синеватый картофель, пахнущий почему-то керосином. Фото в газете, подобранной на дощатом полу: мертвая девушка с обнаженной грудью и петлей на шее - Зоя Космодемьянская. Брикет ледяного молока на рынке.

Пленные немцы. За корочку хлеба дают монетку. "Ходячие" раненные из госпиталя иногда появляются в детском саду, где их угощают морковным чаем.

После всеобщего ликования по поводу дня Победы долго добираемся в товарняке до Киева. Сутки стоим на станции Москва-товарная. В самой Москве поражает смена караула у мавзолея и двухэтажные английские автобусы. По слогам разбираю надпись над станцией метро: "...имени Лазаря Моисеевича Кагановича".

И вот Киев. Квартира разграблена. Развалины Крещатика. Плоский немецкий штык, найденный в песке, и мешок со значками "Осоавиахима".

Казнь пленных военных преступников на площади Калинина (ныне - Майдан Незалежности). Связанные, они сидят в кузове грузовика. Потом им на шею прикладывают петли, и грузовик отъезжает.

Постоянное чувство голода. Мужская школа. В классе - 40 остриженных наголо разбойников. Через год им всем повязывают пионерские галстуки. После уроков - жестокие драки за сараями - групповые и один на один (стукалка).

Безработица, безденежье, безотцовщина - сплошное "без".

Антисемитизм, усугубляемый "безродными космополитами", "делом врачей" и пр. Анекдоты типа: "В Киеве "Аида" не идет, в Киеве идет "Иван Сусанин".

Пересуды, связанные с событиями на Ближнем Востоке. Поддавший приятель родителей, бывший фронтовик, архитектор дядя Макс громогласно выражает готовность сразиться с врагами Израиля. "Тише, тише, Макс! Не дай Бог, кто-нибудь услышит!".

Давка в толпе, собравшейся на митинг по поводу смерти усатого вурдалака. Сажу на дереве рядом с площадью, носящей его имя, слышу вопли раздавленных людей. Машины "скорой помощи" не могут пробиться к раненым.

Митинг в школе. Все без исключения выступающие - и учителя, и ученики - безутешно рыдают.

Первая серьезная обида: намеренно и нагло "срезанная" медаль.

Черкассы. Вуз с идиотским названием

- Педагогический институт имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. Физико-математический факультет, физическое отделение.

Литобъединение при областной газете. Первая публикация в литературном альманахе-ежегоднике "Днипрови зори". Стимул для 19-летнего юноши писать стихи. Стало быть, пишу и даже публикуюсь в областных и республиканских "органах печати". Правда, редакторы советуют, а порой и требуют взять псевдоним. Как могу уклоняюсь. Иногда обнаруживаю свои опусы за подписями Марков, Марченко, Маркевич - самодеятельность газетных "доброжелателей".

После окончания вуза еду по направлению в Донбасс. 10 лет педагогической работы в Макеевке и жизни в горняцком поселке при шахте "Ганзовская".

Здесь меньше жлобства, чем в Киеве или Черкассах. Работяги люди прямые и в основном доброжелательные. Несмотря на загазованность воздуха дышится легче. По ночам полыхает макеевское "солнышко" - раскаленный шлак металлургического завода им. Кирова, того самого, который изобразил сталинский лауреат Попов в романе "Сталь и шлак", вывозится вагонетками из цехов и течет огненной рекой по шлаковой горе.

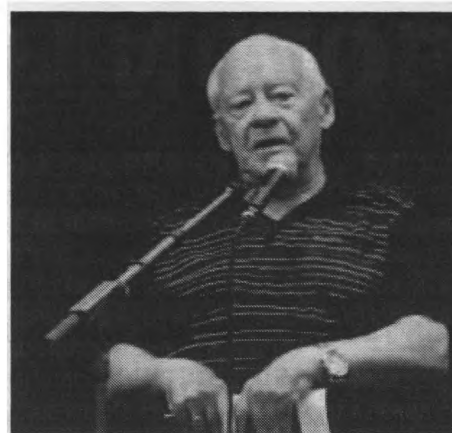
В Донецком отделении Союза писателей годами длится нескончаемая свара по поводу названия литературного журнала - "Донбасс" - с двумя "с" - по-русски, или с одним - по-украински. При отделении действует литобъединение "Обрий", руководимое поэтами Володей Демидовым и Иосифом Курлатом. Из него вышло немало крепких литераторов - профессионалов, в том числе легендарный политэкз Василь Стус.

В 66-м году поступаю на заочное отделение Литинститута им. Горького (творческий семинар Н.К.Доризо). Кроме него, моими литературными наставниками оказываются Лев Адольфович Озеров, Александр Петрович Межиров и - отчасти - Валентин Дмитриевич Берестов.

Начинаю публиковаться в "Юности" и других толстых журналах - "Знамени", "Неве", "Огоньке", "Радуге", "Донбассе", "Сибирских огнях", "Авроре", в детских - "Пионере", "Костре", "Веселых картинках". Даже в двух "Правдах" - Украины и "Пионерской" появляются стихи, подписанные моей "подозрительной" фамилией.

С 71-го года я вновь в Черкассах. Год работаю в пригородной сельской десятилетке, а затем - вплоть до 96-го - в Черкасской школе №8 с физико-математическим уклоном, преподаю физику.

В 75-ом в киевском детском издательстве "Веселка" выходит сотысячным тиражом первая книга стихов для школьников "Мой папа - ученик". Вслед за нею в московской "Детской литературе" - "Счастливый билет", "Пора каштанов", "Спросите меня!" и "Понедельник - день



веселый", в "Веселке" - "Шестой урок" и две книги в Черкассах - "Лирические приключения" (детская) и "Моление о памяти" - для взрослых.

Езжу в Ленинград на Всесоюзные семинары детских и юношеских писателей при журнале "Костер" - раз в два года, на которых представлен весь цвет нынешней российской детской - и не только! - литературы: Михаил Яснов, Марина Бородицкая, Сергей Махотин, Андрей Усачев, Александр Крестинский, увы, уже покойный и многие другие. С первыми двумя дружу уже почти 40 лет.

Прием в Союз писателей проходит со скрипом. В конце концов - после пятой книги! - принимают - и то лишь после коллективного письма группы ленинградских писателей (15 подписей) Правлению СП Украины, указывающего на недопустимость и позорность дальнейших проволочек.

С конца 96-го я в Израиле. Новая среда, новые впечатления, эмоциональный всплеск. В результате - новые книги и журнальные публикации. Название первой - "Репортаж из Эдема" - говорит само за себя. За ней следуют "Третья попытка" и "Следы пребывания" (премия СП Израиля им. Д.Самойлова). В Киеве в издательстве журнала "Радуга" как материальное выражение Международной литературной премии "Круг родства" им. Риталия Заславского выходит "Оператор сновидений". В Москве в поэтической серии издательства "Самокат" - книга лирики для старших школьников "Обычная драка".

"Взрослые" стихи публикуются в израильских журналах "22" и "Иерусалимский журнал", американских - "Интерпоэзия" и "Время и место" и московском "Арионе" - в нем за последние 13 лет вышло 12 стихотворных подборок.

Детские стихи стали появляться в российских школьных учебниках, хрестоматиях и различных книжках для детей.

В 2005 году в Санкт-Петербурге издается учебник для студентов-гуманитариев по истории детской литературы профессора Е.О.Путиловой (издательство РПТУ им. Герцена), в котором рассматриваются и мои стихи.

А в 2013-м - в издательстве "Лики России" под ее же редакцией - третий том фундаментальной роскошно изданной антологии "Четыре века русской поэзии - детям (1941-2000)", в которой я достаточно широко представлен тремя десятками стихотворений, биографической справкой и многочисленными упоминаниями и ссылками во вступительной статье. Прохожу в основном как представитель

редкой породы стихотворцев, работающих не для малышей, но для подростков. Плюс так называемая "школьная лирика".

Все вроде бы хорошо, лишь занозой в голове торчит мысль, что работаю-то я, по сути, в основном не для детей своего народа, в силу разных обстоятельств лишенных положенного им "витамина роста", коим является литература и, в частности, поэзия. Что, похоже, никого не волнует.

И в заключение несколько слов о моих литературных пристрастиях. Ценю поиск - формальный, словарный и тематический, внятность, искренность, лаконизм. Ненавижу какой бы то ни было пафос. Считаю обязательным присутствие личного профессионального клейма, то есть абсолютную узнаваемость - в противовес занудливой "классичности" и амбициозной авангардности, прикрывающей творческое бессилие, когда

...даже серенькие мышки,
приобщившись к модным играм,
пишут тоненькие книжки
дисметрическим верлибром.

Благодарю Провидение за возможность моделировать мир, в котором жизнь реальнее себя самой.

А что она прошла, "как Азорские острова", то ведь новый материк еще, возможно, впереди.

Стихи из цикла "Машина времени"

Когда я смирял нетерпения дрожь,
Чтоб ринуться в бой,
Я был на себя, вероятно, похож,
Но не был собой.
И только достигнув холодных морей,
Как рыба минтай,
Немного приблизился к сути своей.
Не веришь? - Читай!

По этим переулочкам
Морозною весной
Я бегал на "снегурочках",
Прикрученных тесьмой.

Здесь в скверике за школою,
Где снег мочой полит,
Лежал, понутив голову,
Один космополит.

И вот с тех пор поныне я
Без видимых причин
Считаю блестящие и неясные
В сети его морщин,

И вьюга хищной птицею
Над крышами снует,
И страх со счета сбиться мне
Покая не дает.

Эндшпиль

Честно нажитое прожито,
А куда ходить, неясно.
Рисковать и осторожничать
Одинаково опасно.

Трата сил не окупается,
А о прочем умолчу.
Согрешить или раскаяться?
Соглашаюсь на ничью!

Джозеф ТЕЛУШКИН

ГИЛЕЛЬ

Известный американский раввин Джозеф Телушкин в своей книге о Гилеле - одном из величайших мудрецов Талмуда - размышляет о том, как современный читатель трактует личность Гилеля и его поучения; о поверхностных односторонних толкованиях и о глубинном анализе афоризмов и поступков Гилеля; о новом значении, которое его максимы приобретают сегодня, и о том, как можно им следовать в условиях нынешней реальности. Книга выпущена московским издательством "Книжники" в "Чейсовской коллекции" в 2017 году. Мы публикуем отрывки из нее

Как-то раз я беседовал с другом, тоже раввином; мы обменялись историями о жизни и работе. Он рассказывал о недавней встрече: "Ко мне пришел один еврей - ему, наверное, слегка за тридцать - со своей нееврейской девушкой. Они хотели пожениться, но его родители были категорически против того, чтобы их единственный сын женился на нееврейке. Я спросил девушку, что она об этом думает, и та честно ответила: такое отношение кажется ей примитивным и нелепым, но она готова, если понадобится, принять иудаизм. Ведь, в конце концов, она хочет быть хорошим человеком, а иудаизм - как она предполагает - учит людей поступать хорошо; вполне возможно, он может научить ее чему-то новому о том, как быть хорошей. Именно так она и сказала, "вполне возможно, иудаизм может научить меня чему-то новому о том, как быть хорошей".

- И что ты сказал ей? - спросил я.

Мой друг, довольно-таки консервативный раввин, ответил:

- Я сказал, что мы не спешим обращать людей в иудаизм, что гиюр - это не быстрая процедура: опля! - и ты уже еврей! Надо многое изучить, ознакомиться с ритуалами, и я, конечно, не могу обратить ее прежде, чем она пройдет это обучение и начнет применять изученное на практике.

- И что она на это ответила?

- Ответил ее парень. Он был очень раздражен. "Я же тебе говорил, что это бесполезно, - сказал он девушке, а затем обратился ко мне: - Через полтора месяца мы поженимся, рав. Хоть с вашей помощью, хоть без нее".

Мой друг пожал плечами.

- Я сказал, что даже будь они настроены более открыто, шесть недель - это все равно слишком мало для гиюра. Шесть месяцев - как минимум. Они ушли с книгой, которую я дал им, но они не вернутся.

Мой друг покачал головой; на его лице читались печаль и раздражение.

- Я подумал, что лучше бы они просто расписались. Такие прозелиты нам не нужны. Если когда-нибудь она захочет стать настоящей еврейкой, пусть тогда и приходит ко мне. - Он пожал плечами и, увидев мое скептическое выражение лица, добавил: - Знаю, знаю, это никогда не случится.

Некоторое время я молчал, думая о талмудическом мудреце по имени Гилель, жившем две тысячи лет назад, и об американской еврейской общине, которая

становится все меньше и в которой растет число смешанных браков: за последние тридцать лет оно составляет сорок и более процентов от общего числа браков.

- А как же ее замечание? - наконец спросил я.

Он был озадачен.

- Какое замечание?

- Что иудаизм может научить ее чему-то новому о том, как быть хорошей.

- Неплохо сказано, - признал он. - Но меня бы больше впечатлило, если бы она говорила о самой религии. Например, что она почитала о шабате и теперь хочет соблюдать его. Или что ей хочется блюсти кашрут. Тогда я бы, по крайней мере, увидел, что мне есть с чем работать. Но эта пара не дала мне никакого материала для работы.

Никакого материала для работы.

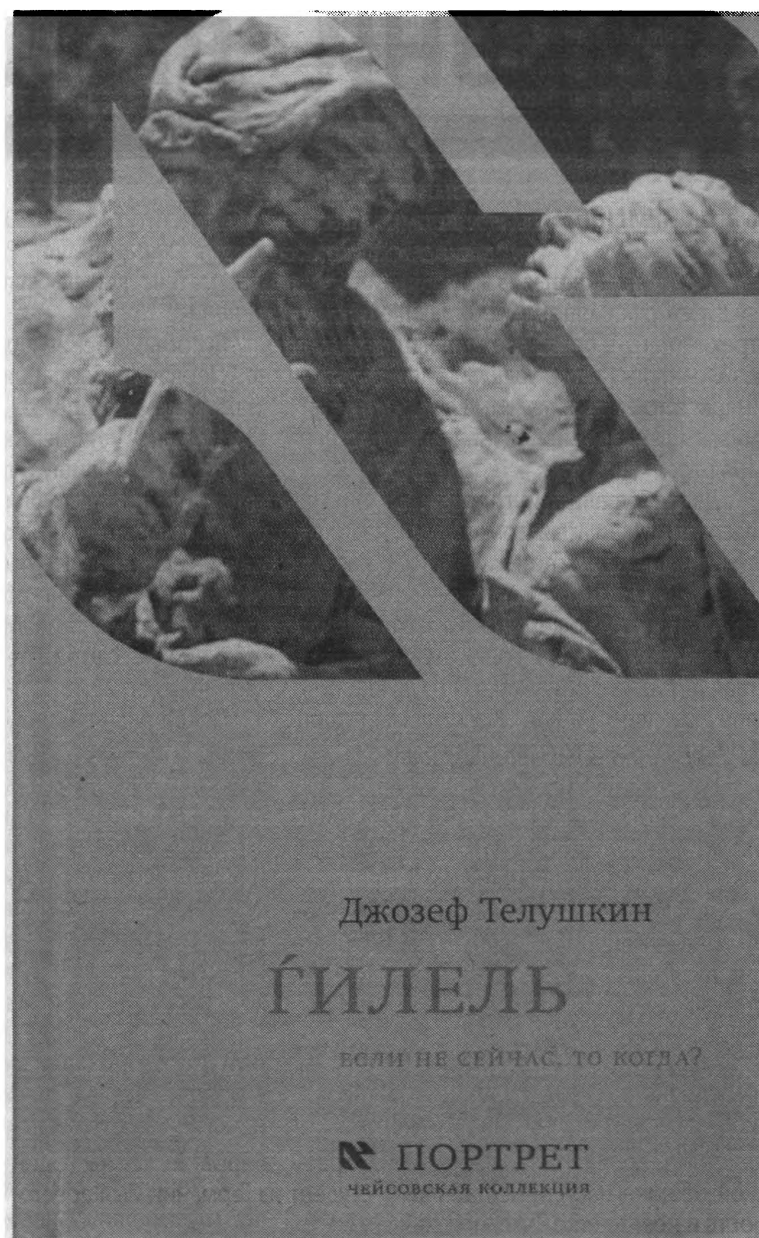
Его слова эхом прозвучали в моей голове.

На тот момент я уже подумывал о том, чтобы написать книгу о Гилеле, и эта встреча настроила меня еще более решительно. Гилель, я уверен в этом, счел бы подход моего друга - очень типичный и сразу же отбивающий интерес к иудаизму - абсолютно неверным. И мне трудно представить, чтобы Гилель одобрил странную, "подвешенную" ситуацию, при которой около трехсот тысяч русских условно еврейского - а иногда и вовсе не еврейского - происхождения живут в Израиле и многие из них желают стать евреями. Я подумал о Гилеле, потому что, по мнению многих людей, он был не только величайшим иудейским мудрецом-законоучителем, но и самым смелым в вопросах гиюра.

Кроме того, он больше других мудрецов верил, что нравствен-

ное поведение столь же (или даже более) важно, чем строгое соблюдение ритуальных законов. Самая знаменитая история о Гилеле, которую мы подробно рассмотрим в этой книге, повествует о язычнике, желающем обратиться в иудаизм. Но он хочет обучиться иудаизму даже не за шесть недель, а за то время, пока "стоит на одной ноге". То есть буквально на одном дыхании. Учитель, к которому обратился язычник, оскорблен такой просьбой и в прямом смысле слова прогоняет его палкой. Тогда язычник приходит к Гилелю, и тот охотно обращает его. Гилель называет гостя единственным принципом, который, как ни странно, не упоминает ни Бога, ни ритуалы Торы - только порядочность по отношению к ближнему и важность учебы. Если можно определить суть философии Гилеля, то она заключена именно в этой истории, где он сам осмеливается сформулировать сущность иудаизма.

Написать биографию Гилеля в привычном понимании этого термина, увы, невозможно. Все, что мы знаем о его жизни, разбросано по разным историям в Талмуде и связанным с ним текстам (например, мидрашам). Талмуд, как и Тора, является самым важным литературным произведением в иудаизме; это сборник галахических (Галаха - еврейский закон) дискуссий, толкований Торы и попыток расшифровать, чего же Бог хочет от людей. И все это вперемешку с фольклором, этическими поучениями и притчами, многие из которых повествуют о величайших законоучителях. Составление Талмуда завершилось около 500 года н.э., но свое начало он берет в древнейшем периоде еврейской истории; сами талмудиче-



ские мудрецы считают, что многие из его поучений были даны народу еще на горе Синай.

Хотя биографию Гилеля в традиционном смысле слова написать невозможно, но, как мне кажется, можно дать читателям ясное представление о человеке, который обращается к нынешним евреям и нынешнему иудаизму более горячо и настойчиво, чем любая другая личность в иудейской истории за последние две тысячи лет.

Что касается подробностей жизни - о Гилеле мы, к сожалению, знаем куда меньше, чем о гораздо более древних персонажах. Возьмем Моше, величайшую фигуру Торы, - мы знаем, как он встретил будущую жену, знаем имена его сыновей, отца, матери, брата и сестры; нам известна даже история о претензии, которую Мирьям и Аарон - сестра и брат Моше - предъявили к нему на определенном этапе блужданий по пустыне.

Наиболее яркий персонаж книг ранних библейских пророков - второй царь Израиля, Давид, сын Ишая, самый младший из восьми братьев. Мы знаем о его первой жене Михаль; собственно, это единственная женщина во всем ТАНАХе, о чьей

любви к мужчине сказано напрямую: "Но Давида полюбила [другая] дочь Шауля, Михаль". Мы даже знаем историю ссоры, положившей конец их любви - если на тот момент в их печальном браке оставалась еще хоть искра любви (Млахим, 2, 6:16-23).

И теперь мы переходим к Гилелю - наверное, величайшему мудрецу Талмуда. Он родился примерно через тысячу двести лет после Моше и через девятьсот лет после Давида, так что, казалось бы, мы должны располагать о нем намного большими сведениями, чем о его предшественниках. Талмуд называет его "Гилель-вавилонянин", из чего можно сделать вывод, что родился он в Вавилоне, а затем переехал в Израиль. Талмуд сообщает, что Гилель стал наси - верховным лидером общины. В другом месте Талмуда говорится, что Гилель ведет свой род от царя Давида - такая царственная деталь биографии приличествует человеку, чьи потомки были лидерами еврейской общины более четырехсот лет. Но мы не знаем ни имен его родителей, ни имени его жены - хотя Талмуд и свидетельствует о ней, о ее отзывчивости и благотворительной деятельности, все же она осталась для нас

безымянной. Известно, что у Гилеля были сын Шимон (о других возможных детях мы ничего не знаем) и брат Шевна, купец. Поскольку многие потомки Гилеля занимали высокие посты, их имена тоже известны; среди них есть четыре Гамлиэля, два Шимона (не считая сына), три Йегуды и последний в династии лидер, Гилель Второй. Кроме того, нам известен современник Гилеля Шамай, знаменитый законоучитель, основавший собственную школу; тот самый Шамай, который прогнал палкой потенциального прозелита. Школа Гилеля и школа Шама по большинству вопросов Галахи были оппонентами. Однако, как ни странно, лишь в одной истории эти двое появляются вместе (Шабат, 17а). И все же они были и остаются знаменитой символической парой соперников, каждый из которых отстаивает принципы, существенно важные для еврейской традиции.

Кроме того, мы знаем, что Гилель был учеником двух мудрецов - Шмаи и Автальона, религиозных лидеров той эпохи; оба происходили от иноверцев, принявших иудаизм. Знаем мы и то, что Гилель стал во главе государства в эпоху, когда в еврейской общине царили нестабильность и невежество - что, по всей вероятности, было связано с правлением Гордуса (Ирода), страдавшего манией величия и потому притеснявшего религиозных учителей народа. Талмуд утверждает, что Гилель прожил 120 лет (как и Моше), годы правления Гилеля, предположительно, охватывают период с 30 года до н.э. по 10 год н.э., то есть 40 лет.

Что мы действительно знаем о Гилеле в подробностях, так это разные притчи, разбросанные по Талмуду и Мишнах, а также многочисленные галахические постановления - как самого Гилеля, так и его учеников, - записанные в Мишне, Тосефте, Иерусалимском и Вавилонском Талмудах. Благодаря этим историям и постановлениям Гилель остался в еврейской памяти как великий мудрец, заслуживший народную любовь своей законодательной смелостью, страстью к учебе, удивительной открытостью по отношению к прозелитам и деятельной добротой.

И в историях, и в галахических дискуссиях мы видим готовность Гилеля сформулировать (причем одним развернутым предложением) суть иудаизма; ту широту взглядов, благодаря которой он устанавливает еврейский закон не только на основе традиции, но и на основе собст-

венной живой и страстной трактовки намерения Торы; его веру в доброе начало человека.

Но хотя поучения Гилеля и знамениты в еврейском мире и их несколько раз подтверждает - ни много ни мало - сам Глас Небесный, давая понять, что они истинны и принципиально важны, на практике люди пренебрегают многими из его важнейших идей, а порой вообще о них забывают.

Кто же он такой, этот человек, чье учение в наши дни выглядит столь же революционным, как, вероятно, и в его эпоху, и в то же время составляет (или должно бы составлять) самое ядро традиционного иудаизма? И как случилось, что мы так оторвались от его взглядов? Желание понять, почему это произошло и почему сегодня необходимо вернуться к мировоззрению Гилеля, и побудило меня написать эту книгу.

Раввин Исраэль-Меир Коэн (1838-1933), известный в еврейской среде по названию своей первой книги как Хафец Хаим, основал и возглавил иешиву в белорусском городке Радине (Радуни). Ученики стекались в его иешиву со всей Европы. Во время Первой мировой войны один студент из Германии был арестован царской полицией и обвинен в шпионаже в пользу своей страны. Адвокат попросил Хафец Хаима явиться в суд и дать показания об обвиняемом. Говорят, что перед тем, как вызвать его для дачи показаний в качестве свидетеля, адвокат подошел к судье и сказал:

- Ваша честь! У раввина, которому сейчас предстоит давать показания, безупречная репутация среди евреев. Рассказывают, что однажды он пришел домой и увидел в гостиной вора. Перепуганный вор вылез в окно и сбежал, прихватив часть вещей раввина, а тот кинулся за ним, крича: "Я объявляю все свое имущество бесхозным!", чтобы вора не сочли виновным в преступлении.

Судья скептически поглядел на адвоката.

- И вы верите, что это произошло на самом деле?

- Не знаю, ваша честь, - ответил тот, - но о нас с вами такого не рассказывают.

История, в которой Гилель впервые появляется перед еврейским читателем, изображает его неким ангелом, парящим над головами двух мудрецов, ставших впоследствии его главными учителями. Однако это вполне земная история; из нее мы видим, что Гилель был беден, жаждал знаний и хорошо понимал,

что значит быть - в буквальном смысле слова - чужаком, пришлецом, заглянувшим в дом.

О старейшине Гилеле рассказывали, что каждый день он работал и зарабатывал полдинара. Половину этих денег он отдавал сторожу дома учения; вторую половину тратил на еду для себя и своей семьи. Однажды для него не нашлось работы, и сторож дома учения не позволил ему войти. Гилель залез [на крышу] и сел у слухового окна, чтобы послушать слова живого Бога из уст рабби Шмаи и Автальона. То был канун субботы, зимний день, и снег падал на него с небес. Когда рассвело, Шамай сказал Автальону: "Брат мой Автальон, в этом доме всегда светло, а сегодня - темно. Быть может, нынче облачный день?". Они посмотрели вверх и увидели фигуру человека в слуховом окне. Поднявшись на крышу, они нашли Гилеля, покрытого снегом в три амот (ама - локоть - около 50 см) толщиной. Они сняли его, выкупали и растерли, посадили у огня и сказали: "Этот человек заслуживает того, чтобы нарушить законы субботы ради него" (Йома, 35б).

В этой истории есть целый ряд необычных, даже странных деталей. Во-первых, здесь мы впервые слышим о том, что бейт-мидраш - дом учения - брал деньги с учеников за посещение занятий; особенно удивляет, что плата взималась изо дня в день, как будто речь шла о театральных билетах.

Хотя в Иерусалиме раз в несколько лет действительно выпадает снег, то, что Гилель забрался на крышу именно в такой аномально морозный день, выглядит необычным совпадением. Но еще большие сомнения вызывает количество снега, засыпавшего Гилеля: три локтя, то есть примерно 1,4 метра. В Иерусалиме такие снежные заносы - дело неслыханное, даже при ветреной погоде. А факт, что Гилель несколько часов просидел на крыше во время снежной бури, видимо, упоминается, чтобы подчеркнуть: перед нами человек, действительно готовый рисковать жизнью ради изучения Торы.

Кроме того, эта деталь объясняет, почему впоследствии Гилель мог ощутить душевное родство с искателями, желающими обратиться в иудаизм, - он сам когда-то был "пришедшим извне" и заглядывал в дом учения через окно, стремясь приобщиться к знанию.

Но вот еще один странный момент: ни в одном другом источнике мы не встречаем упоминаний о иешиве, которая работала бы в пятницу вечером, в

канун шабата, и продолжала работать всю ночь до утра, то есть в шабат. Согласно еврейской традиции, официальные учебные занятия прекращаются перед наступлением шабата. Гилель, как все женатые мужчины, должен был вернуться домой, чтобы встретить субботу с женой и детьми.

Упомянув, что дом учения продолжал работать, история мимоходом преподает нам важный урок еврейского закона. Когда Гилеля сняли с крыши и отвели в комнату для занятий, его жизнь была в опасности. Мудрецы хлопотали у огня, стараясь согреть Гилеля, и поддерживали огонь - что обычно запрещается делать в шабат - ради него.

Два руководителя иешивы, Шамай и Автальон, признают законными все действия, необходимые для спасения Гилеля, потому что "этот человек заслуживает того, чтобы нарушить законы субботы ради него".

Их утверждение звучит непонятно, ведь еврейский закон и так позволяет нарушать субботу, чтобы спасти любую жизнь. Ни в одном еврейском галахическом тексте не сказано, что надо обладать выдающимися добродетелями Гилеля, чтобы ради твоей жизни нарушили законы субботы.

Однако фраза Шмаи и Автальона наводит на мысль о том, что в реальности, возможно, все было не так; возможно, нарушение шабата ради спасения жизни тогда еще не считалось чем-то безусловно законным. Возможно, что шабат - по крайней мере, для некоторых людей - превосходил святостью человеческую жизнь.

Мы знаем, что в древности среди евреев были приверженцы такого подхода. Примерно за сто лет до случая с Гилелем еврейскую жизнь сотрясло восстание Маккавеев против эллинистического господства Антиоха Епифана, сирийского царя. Память об этом успешном восстании, начатом Матитьягу и возглавленном его сыном Йегудой Маккавеем, чтят по сей день, празднуя Хануку. В те времена, когда вспыхнуло восстание, существовала группа евреев, известная как хасидим (благочестивые): они сражались с отрядами царских солдат. Хасидим воевали до наступления шабата, а затем бросали оружие, и солдаты Антиоха беспрепятственно убивали их. Матитьягу еще в те древние времена проявил достойный восхищения здравый смысл: "Если все мы будем поступать так, как поступали эти братья наши <...>, то они [сирийцы] скоро

истребят нас с земли". Книга Маккавеев гласит, что в тот день еврейские повстанцы решили: "Кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши..." (1-я книга Маккавеев, 2:32-41).

Итак, в истории уже был прецедент, когда евреи нарушали правила шабата, поскольку человеческая жизнь была в опасности, но, возможно, все же оставались люди, которые ставили под сомнение разрешение нарушать шабат ради спасения жизни. Шамай и Автальон недвусмысленно заявили: для такого человека, как Гилель, законами шабата можно пренебречь.

Хотя некоторые элементы этой притчи отдают легендой, все же она сохранила несколько конкретных деталей о Гилеле. Во-первых, отсюда мы узнаем о его чрезвычайной преданности изучению Торы - преданности, всегда отличавшей величайших еврейских религиозных учителей (о Виленском Гаоне, великом знатке раввинистической премудрости, жившем в XVIII веке, рассказывали, что он изучал Тору от восемнадцати до двадцати часов в сутки). Именно Гилель первым воплотил в себе эту черту и тем самым создал соответствующий образ еврейского ученого. Во-вторых, история говорит нам, что Гилель был бедняком с железной волей. Тот факт, что поденный рабочий, еле сводивший концы с концами, стал величайшим ученым своей эпохи, означает, что Талмуд оценивает людей не по богатству или положению в обществе, а только по их достижениям в Торе.

И, наконец, история служит примером принципа, которого придерживался и которым прославился Гилель: во главе всего должны стоять добрые дела. То, что два мудреца в тот день рассказали своим ученикам, разумеется, тоже имело значение - ведь именно ради этого урока Гилель сидел на крыше во время бури. Но еще важнее было их поведение после того, как урок окончился. Действия учителей - они сняли бедняка с крыши, поддерживали огонь в субботу, признали, несмотря на бедность Гилеля, его добродетель и право быть учеником - с тех самых пор стали наглядным доказательством того, что поступки человека важнее его социального статуса, а порой они даже определяют трактовку еврейского закона. Все остальное - лишь комментарий.

Перевод с английского
Аси Фруман

"В СТРАНЕ ИЗГНАНИЯ НАМ УСЛАДА - ТОРА"

"Она прожила тревожную жизнь, лишь непродолжительный интервал в которой приходился на пору внутренней свободы и раскованности, когда и родились ее лучшие стихи, хотя житейски это были нелегкие годы. Потом удача посещала ее - нечасто, но, безусловно, посещали". Так пишет Борис Фрезинский, автор вступительной статьи "Елизавета Полонская. Стихотворения и поэмы". В книге этой наиболее полно представлено творческое наследие поэтессы и переводчицы, которая ушла из жизни полвека назад.

На свет Лиза появилась в 1890 г. в Варшаве, в семье инженера-путейца Григория Львовича Мовшенсона (Мовшензона), выходца из Двинска и его супруги - Шарлотты Ильиничны Мейлах, родом из Белостока. До 15-летнего возраста Лиза жила в Лодзи, а затем семья переехала в Берлин, в связи с ростом в Польше антисемитских настроений, но всего через год семейство оказалось в Петербурге, где Лиза окончила частную гимназию и, проникшись революционными идеями, участвовала в нелегальной доставке в Россию из Финляндии запрещенной политической литературы. Когда, в данной связи, над нею нависла угроза ареста, она была отправлена родителями к дальним родственникам во Францию. Она окончила медицинскую школу Сорбонны. Продолжая следить за развитием событий в России, присоединилась к организованной во Франции группе содействия большевикам, и там, в начале 1909 года познакомилась с Ильей Эренбургом. Вместе они издавали юмористические журналы, для которых Полонская написала свои первые стихи. В 1912-1914 гг. Елизавета выступала с поэтическими произведениями в Русской академии. Есть основания полагать, что с Эренбургом у нее тогда вспыхнул юношеский роман. Они были почти ровесниками. Их связь, судя по всему, длилась недолго, менее года, но она осветила почти шесть десятилетий последующей их дружбы.

В 1914 г., с началом Первой мировой войны, Елизавета служила врачом в военном госпитале в Нанси. В 1915-м она вернулась в Россию, получила диплом в Юрьевском университете, и сразу же была призвана в армию, где ее зачислили врачом в эпидемический отряд. Там она познакомилась с будущим мужем - киевским инженером Львом Полонским. Брак, однако, длился недолго. В декабре 1916 года Елизавета родила сына, названного Михаилом. В апреле 1917-го Полонская приехала в Петроград, где и встретила Октябрьскую революцию. С ноября 1917 г. по 1934 г. работала в советских медицинских учреждениях, совмещая службу с литературным трудом. В 1919-1920 гг. занималась в литературной студии у Н. Гумилева, К. Чуковского и М. Лозинского. Была единственной женщиной в объединении "Серапионовы братья" - в творческом содружестве молодых писателей (прозаиков, поэтов и критиков), возникшем в Петрограде в 1921 г. В то время были изданы сборники ее стихов "Знаменья"



и "Под каменным дождем". В 1930-х гг. Полонская, в качестве корреспондента газеты "Ленинградская правда", много разъезжала по стране, итогом стала книга очерков. В сталинскую пору она затаилась, опасаясь ареста, но репрессии обошли ее стороной.

В годы Второй мировой войны была фронтовым врачом. События предвоенных и военных лет стали мотивами стихотворных сборников "Времена мужества", "Камская тетрадь" и сборника рассказов "На своих плечах". Полонская также выступила автором многих книг для детей и воспоминаний о литературной жизни 1920-1930-х гг. Была в ее творчестве и еврейская составляющая. В одном из стихотворений этой тематики она признается, что хотя "забыла и веру, и род", но сохранила еврейства "верные знаки". Иудейской тематике посвящены ее стихи "Агарь", "Я не могу терпеть младенца Иисуса", "Золотой дождь", "История доктора Фейгина" и другие. Предчувствием надвигающейся на европейское еврейство Катастрофы проникнуто стихотворение "Сапоги" (1940): "проходя по улицам современных гетто", поэт слышит зловещий грохот вражеских сапог. Напоминание о Холокосте возникает в одном из поздних ее произведений "Мадонна Рембрандта" (1966): поэтессе преследует "Бухенвальдских печей тошнотворная вонь".

Полонская успешно занималась переводами (начала в издательстве "Всемирная литература" под руководством К. Чуковского и Н. Гумилева). Она переводила стихи У. Шекспира, В. Гюго, Р. Киплинга, Ю. Тувиима и других поэтов, а также армянский эпос "Давид Сасунский". Из жизни Елизавета ушла в Ленинграде, в городе, где она прожила большую часть своей жизни.

**Из поэтического наследия
Елизаветы Полонской**

О, дети народа моего...

О, дети народа моего,
О, мальчики с печальными глазами,

И с голосом пронзительно певучим,
Как память об оставленной земле,
Чьи черные сосцы опалены ветрами,
Земле, которая звалась обетованной,
А стала нам утерянной землей.
Ничтожнее ничтожных наше имя,
Презреннее презренных стали вы!
Вы на посмешище и стыд родились!
В стране чужой, суровой и унылой
Вы проживете, бедные пришельцы,
И с сыновьями здешних женщин
Вы не сойдетесь для веселых игр,
Когда убогая весна настанет.
Но будут и другие среди вас:
В них оживет внезапный гнев пророков
И древней скорби безудержный плач.
Века, века заговорят пред ними,
И сердце детское наполнит ужас.
Их опьянит божественный восторг
И острой болью жалость их пронзит,
И проклянут они, и умилятся
Над обреченным жить и умереть.
И будет горло, как струна тугая,
Напряжено одним желаньем тука,
И лютнею Давида прозвучит
На языке чужом их грустный голос.

Встреча

То утро бежало в обычном ряду,
По улицам утро спешило
Пружину часов развернуть на ходу,
Чтоб ночь ее снова скрутила.
Застегнуто было пальто на груди,
Застегнута грудь на замок и цепочку.
Вдруг голос гортанный:
"Тайр идиш кинд,
Дай что-нибудь нищей, еврейская дочка".
Из груди тряпья на меня глядит он,
Старушечий хитрый и ласковый лик,
И глаз деловитый, и нос крючковатый,
И с гладкими крыльями черный парик.
И желтая старческая рука
Берет меня за рукав,
И слова непонятного языка
За сердце берут, зазвучав.
И я останавливаюсь на ходу,
Хоть знаю - нельзя, нельзя,
И жалкую мелочь ей в руку кладу
И жадное сердце - в глаза.
- Старуха, как в этой толпе чужих
Меня ты узнала, полуслепая?
Ведь мне не понять бормотаний твоих,
Ведь я же такая, как те, они,
- Сухая, чужая, чужая.
- Есть, доченька, верные знаки у нас,
Нельзя ошибиться никак.
У девушек наших печальный глаз,
Ленивый и томный шаг.
И смеются они не так, как те,
- Открыто в своей простоте,
- Но как луна из-за туч блестит,
Так горе в улыбке у них сидит.
И пусть ты забыла и веру, и род,
А ид из иммер а ид,
Еврейская кровь наша в жилах поет,
Твоим языком говорит.
То утро бежало в обычном ряду,
По улицам утро спешило
Пружину часов развернуть на ходу,
Чтоб ночь ее снова скрутила.

Еще слова ленивый торг ведут,

Закономерно медленны и вязки.
Еще заканчиваем скучный труд
Неотвратимой, тягостной развязки.

Еще живем, как будто бы, одним.
Еще на час с мучительной болью
Дыханьем теплым, может, оживим
Последние и черные уголья.

Но чувствую - перестаем любить.
Перестаем, еще немного рано.
Все кончится. И даже, может быть,
В день воскресенья мертвых -
я не встану.

Израиль

1

Таких больших иссиня-черных глаз,
Таких ресниц - стрелчатых и тяжелых,
Не может появиться среди вас,
В холодных и убогих ваших селах.

Нет, только там,
где блеск и зной, и синь,
Под жгучим небом Палестины
В дыханьи четырех больших пустынь,
Бог Саваоф мог дать такого сына.

2

Оконце низко - улица узка.
Учись закону, данному от Бога.
Над городом сурова и тяжка -
Надгробным камнем встала синагога.

Квадратных букв знакомый строг узор,
Опущены тяжелые ресницы,
Все тоньше пальцы, пристальнее взор,
Все медленнее желтые страницы.

3

Как весело пастуший рог звучит,
С горы Хоризмы вечер гонит стадо -
Кто, смуглая, пришельцу расточит
Колодца потаенную прохладу?

Кто подведет к накрытому столу
И старцу с бородой слоновой кости
Смирненно скажет: "Господу хвалу,
Отец, я привела к нам гостя?"

4

Наследника святая слава ждет,
В стране изгнанья нам услада - Тора,
Не будет жалок и унижен тот,
Кем избрана высокая опора.

Завещание

Дедом отца моего
был лошадиный барышник.
Мудрый ученый раввин
был моей матери дедом.
Так и мне привелось полюбить
проходимца, бродягу...
Сын мой! герб знаменитый
тебе завещаю:
Лиру, Давидов щит, ременную уздечку.